

АНАТОЛИЙ РОГОВ

Махонька

П О В Е С Т Ъ

Высота ль — высота поднебесная,
Глубота — глубота океян-море...

Из былин

1

ы знаете, как она умерла? Я знаю точно от человека, который закрыл ей глаза. — Девушка посмотрела на часы. — До репетиции полчаса, успею рассказать...

Но тут часто-часто зазвонил телефон — междугородная. Она ждала этого звонка...

Мы сидели, окруженные музыкальными инструментами, в небольшой стылой комнате с заиндевелым окном в карпогорском Доме культуры. Карпогоры — это центр Пинежского района Архангельской области. Река Пинега — правый приток Северной Двины — протянулась по таежным лесам с юго-востока на север километров на четыреста.

Собеседница моя руководила в этом Доме культуры фольклорным хором. А разговор у нас шел о Марье Дмитриевне Кривополеновой. О той знаменитой сказительнице Кривополеновой, имя которой всем нам хорошо известно еще со школьных лет, как и имена других славных русских сказителей: Трофима Григорьевича Рябинина, Ирины Андреевны Федосовой, Аграфены Матвеевны Крюковой... Кстати, на севере в самом народе их звали раньше старинщиками, да большинство и сейчас зовет только так.

Когда-то мне захотелось узнать, какими они были, эти старинщики, эти мужики и бабы из далеких северных деревень, которые донесли аж до нашего, до двадцатого века самое значительное и прекрасное, что создал поэтический гений русского народа — былины, исторические песни, скоморошины? Ведь известны-то нам только жившие недавно, последние, а их были поколения и поколения, во всех веках, и, наверное, появление каждого старинщика обусловлено не только особым артистическим, певческим даром и способностью помнить подчас многие тысячи сложнейших стихотворных строк, нет, в них во всех было и еще что-то очень-очень важное, что и заставляло обыкновенных крестьян становиться истовыми певцами старин и служить этому делу всегда только самозабвенно, трепетно и свято.

Марья Дмитриевна Кривополенова вызывала у меня особый интерес, и я поехал в ее родные края, на Пинегу. Исколесил ее сверху

донизу. Потом поехал еще раз и уже нисколько не удивлялся, что не встретил среди пинежан ни одного, который бы ничего о ней не знал, не гордился бы ею и не пытался бы рассказать что-нибудь такое, чего я, по его мнению, о Махоньке еще не слышал. Там ее почти все называют Махонькой. Даже ребятишки-школьники, которые очень охотно вызываются показать, в каких именно избах она оставалась, кто ее еще помнит...

Руководительница карпогорского хора говорила по телефону. Тоненькая, большеглазая, закутанная в темный пуховый платок, она будто и не говорила, а очень приятно, мягко напевала в трубку. Это было чисто пинежское. И я вспомнил, как слушал их хор. Пели они здорово, особенно она: совсем-совсем по-старинному и тоже очень по-пинежски, с высоченными подголосками и голос у нее был обжигающий и дивной чистоты. И еще я знал, что она коренная карпогорская, бегала в этот хор девчонкой, что училась в Москве в институте и с огромным успехом выступала в знаменитом фольклорном ансамбле, но, как кончила институт, оставила ансамбль и вернулась сюда, в родной хор...

Уже подходило время репетиции, люди уже собирались...

2

Марьушка очень любила просыпаться раньше других, когда в избе еще никто не ходил, не разговаривал, ничем не гремел. Вынырнет из забытья, услышит рядом мерное посапывание, похрапывание сестры и братьев, увидит через еще слипшиеся веки розовый яркий свет солнышка, а то и его легкое рассветное тепло на щеке почтует — летом они спали на повети на сене возле окошка,— и душа ее уже вся в радости, и ей безумно хочется петь. Песни откуда-то сами собой внутри зазвучат, зазвенят. Но веки она пока не разлепляет и вслух, конечно, не поет — терпит, спят ведь все. Послушает, о чем говорят ближние сосны; голоса у них нынче тихие, довольные — значит, уже тоже купаются в солнышке. Представит, как сейчас поднимется, осторожно приоткроет ворота и выйдет на взвоз, и увидит нежное золото высоченных прямых стволов, а за ними весь окоем, который открывается с их горы, и совершенно неподвижную, совершенно стеклянную в этот час Пинегу внизу. И у нее, конечно же, как всегда, перехватит дыхание от этого немыслимого простора в зелено-синих лесных увалах, и от этого огромного чистого неба, и от пьянящего прохладного воздуха, и потихонечку она что-нибудь уже и запоет. Потом в реке плеснется большая рыба, где-то колотно заблеют овцы и по деревенской улице, глухо шлепая босыми ногами, пройдет длинный Афонюшка — их пастух, и в дорожной пыли за ним будет долго, как живой, змеиться бесконечный кнут...

Так, еще не вставая, она представляла себе весь предстоящий день, все предстоящие дни, и в них буквально все было так же радостно, как это наполненное легким теплом и солнцем утро: люди, которые будут вокруг, запахи малинника, в который они нынче собирались, она даже чувствовала во рту сладкий богатейший вкус...

Но, главное, нынче она опять целый день будет слушать голоса, которыми наполнен мир и среди которых нет и двух похожих и так много колдовских, которые приносят ей какую-то совершенно особую радость и волнение. У некоторых людей такие голоса, у большинства птиц, у травы, у леса, у воды... Свои голоса есть у всех и всего, и она даже не знает, чьи больше любят... Пожалуй, неба и леса: у неба он всегда такой вкрадчивый и бездонный, а у леса такой разный, сильный... И голоса некоторых людей очень любят, и птичьи, и половицы в их сенях и на крыльце... Да мало ли!.. Собственно, суть даже и не в самих этих голосах, а в песнях, которые они поют. В про-

стой речи душу ведь никогда так не распахнешь, как в песне, это ведомо всем и всему, а не только людям. Самовар и тот перед большими холодами перепуганно, визгливо запищит-запоет, что уже чувствует их приближение. И собака в тоске никогда не станет лаять, а будет вить, то есть по-своему петь-плакать. А трава, освеженная прохладным ветерком, будет благодарственно нежно-шелково шелестеть. А небо в летний зной еле внятно ликующе зазвенит. Многие даже различить не могли этого звона и удивлялись, что она различает да еще рассказывает, какой он солнечный и веселый...

— Марьушка! Евдоким!

Их бабушка Мариамна Елисеевна была уже совсем немощная, у нее сильно болели-отекали ноги, но по утрам она все же с большим трудом поднималась и медленно передвигалась по дому, старалась хоть что-нибудь поделать и непременно заглядывала на поветь, будила внуков.

Значит, мать уже тоже поднялась и растапливает печь.

Их, Кабалиных, было восемь: дед Никифор Никитич, бабушка, мать, она, ее старший брат Евдоким, сестренка Марфа и братья Никитка с Федором. Отец умер еще тринадцать лет назад, когда Марье только минуло семь, Евдокиму — десять, а Никитке — год. Дед — единственный в доме мужик, все семеро на его плечах. Но он тогда, слава богу, был еще в полной силе — огромный и бородатый-волосатый, точно лесовик, брови насупит, и глаз-то не видать. С полем управлялся играючи, бывало, и на медведя в одиночку ходил. Ходил с артелями и на Зимние Кеды бить морского зверя. Но к восьмидесяти годам стал сдавать — это уж, наверное, лет семь назад как началось. Все чаще и чаще стал брат в поле Евдокима и в лес брал на лесоповал и за дровами, и на покосы. Хорошо, тот тогда уже в рост пошел. Теперь-то почти совсем его заменил. Но на Зимние Кеды дед ходит по-прежнему, хотя зовут его туда уже не промышлять, а петь старины да сказывать сказки, потому что лучшего старинщика в их округе нет. А в охотничьих артелях в долгие темные зимы на берегу студеного моря они ох как скрашивают жизнь, ох как нужны! Хорошая артель без такого старинщика никогда на зимний промысел не пойдет. И долю из добычи положит ему обязательно равную со всеми, только чтобы пел, чтобы мог вовремя бодрое, нужное слово сказать.

Когда бабушка еще не болела, дед брал с собой и Марьушку. Она там тоже пела старины и песни. Зовут и теперь, но нельзя: не управятся двое — мать с Евдокимом — ни с хозяйством, ни со стольками едоками. Они втроем-то еле-еле управляются.

Одним словом, жили трудно. Не плохо, но трудно, очень трудно, концы с концами еле сводили, и Марьушке, как и матери и брату, приходилось крутиться день-деньской не хуже юлы. И ладно была бы крупная или крепко сбитая, как большинство пинежских девок, а то ведь совсем-совсем махонькая, просто крошечная, да тощенькая, легонькая, кажется, дунь ветер покрепче — и унесет.

Проезжие даже не верили, что ей уже двадцать, думали, девчонка; быстрая, расторопная, не знающая покоя девчонка.

А она сама и не замечала, сколько работает и какая это все трудная работа — и по дому, и со скотиной, и на покосах, в поле, в лесу. Что-нибудь делает, а сама сияет всегда, будто солнышко. Острые скучлы всегда сияли, большой выпуклый лоб, белоснежные зубы и особенно темно-карие, восторженно яркие круглые глаза. Они ведь во всем видели что-то свое, радостное. И если никого не слушала, то обязательно пела. Пела без конца. Песен знала, как никто, любую новую с одного раза запоминала навсегда. Голос же у нее был такой редкой теплоты и нежности и такой сильный, богатый и распахнутый, что даже домашние — а у них славился пением не только дед, отменные голоса были и у бабушки, и у матери, и у Евдокима, и петь они тоже очень любили, — так вот даже они, слушая ее, порой

удивленно замирали. Да и если кто поблизости шел и слышал ее, тоже всегда или остановится, или пойдет помедленнее, или прямо к ней заспешит и знаки подает: пой, мол, не прерывайся, сделай удовольствие!

Э-ой, да по весны, да по весны ле было,
Да ведь по ве... ой, да по весны по красной,
по красной.
Ой, да что по ле... да что по ле-е-е-ту...

А уж если гулянье какое или компания, Марьушка там, самая веселая, самая заводная и желанная. Специально ее зазывали; а она никогда не отказывалась, погулять любила не меньше, чем попеть. За пятнадцать, двадцать верст побежит — не задумается, что, может, обратно только под утро вернется, нисколько не поспавши. На масленицу даже худела, так как гуляли всю неделю; у каждой деревни был свой день, и народ в нее сходился и съезжался со всей округи. В воскресенье — в Веегору, в понедельник — в Шасты, во вторник — в Чашегоры, дальше — в Шеймогоры, в Березник, в Шатогорку, это от Усть-Ежуги как раз в пятнадцати верстах. Но на масленицу большинство катило, конечно, в разукрашенных санях, а кто мог, то и на парах и тройках. Яркий снег, развевающиеся цветные ленты, яркие наряды, раскатистый, веселый звон колокольцев и бубенцов, в каждой деревне большие ледяные горки. Сначала с них должны были скатываться молодожены. Наверх заберутся парни, тоже, конечно, все приодетые, и молодые мужики, как приедут, сразу туда же с санками. А жен оставляют внизу. Парни начинают кричать: «Молодую такого-то на горку». Она идет и раскланивается направо-налево, и наверху еще низко кланяется в разные стороны. А муж-то ее уже в санках, и она садится к нему на колени и целует раза два-три. Но парни вокруг возмущаются, кричат, что это никакая не любовь, так-то слабо целоваться, и держат санки.

— Еще, еще раз подмажь, ходче пойдет!

По десять, по пятнадцать раз заставляли целоваться и, только наслушившись, отпускали.

Молодые скатятся, а внизу опять целуются и отходят.

А толпа стоит, хохочет и вслух считает: сколько всего в какой деревне нынче «скатят», то есть сколько в ней в этот год молодоженов.

Ну, а потом общие игры, песни, катание на лошадях в соседние деревни, во многих домах угощение.

И как это она умудрялась, но казалось, что поспевает всюду. То тут «Марьушка! Марьушка!», то там «Айда, Махонька, с нами!». Махонькой ее многие звали — ведь махонькая же, совсем махонькая.

3

Усть-Ежуга, как и большинство пинежских деревень, стояла по-над самой рекой на двух довольно высоких для здешних мест горах. Так их ставят, «чтоб вешняя вода не пообидела». Часть деревни на одной горе, часть на другой, а меж ними внизу в Пинегу впадала таежная речка Ежуга с коричневатой водой. Маленькие речки тут все с такой водой, потому что текут, в основном, по торфяникам.

Деревня была не из великих, но бойкая, славная, с ямской станцией — тракт на Мезень с нее начинался. Очень важный тракт, единственный в те края. Обозы шли в десятки, сотни саней — ездили ведь только зимой, летом дороги здесь из-за тех же торфяников и болот почти непроходимы и люди пользуются реками. И каждый обоз в Усть-Ежуге, конечно, останавливался — и которые с Мезени к Архангельску, и которые туда, потому что дальше на двести верст сплош-

ное безлюдье и тайга, только вдоль тракта несколько избушек поставлено, чаблусы называются, для отдыха путников.

Постоялый двор ямской станции был огромный — сколько возов и возчиков ни случится, все убирались.

Однако многие постоянные возчики предпочитали останавливаться не там, а у Кабалиных. Места хватало, изба у них была настоящая пинежская: три просторные горницы да светелка, да две горницы поменьше в зимнике.

Возчики входили намерзшие, с сосульками на усах и на поднятых воротниках кожухов и полушибков. Громко топали стылыми валенками, стучали задубевшими рукавицами, стягивали шапки, крестились и кланялись, а обкусывая или отдирая заскорузлыми пальцами сосульки с усов, интересовались, как житье-бытие и здоровьем почтенного Никифора Никитича и всего семейства. Дед тут же распоряжался или сам хлопотал насчет самовара и похлебки, или решал еще раз протопить по такому слухаю печь; это когда было уж очень морозно или одежда у мужиков оказывалась шибко заледенелой, требовала большой сушки. Изба быстро наполнялась густым кислым запахом разогреваемой сырой овчины, крепко шибающим в нос духом множества мужицких портянок, пощипывающим глаза махорочным дымом и дымом потрескивающих лучин, которых ради гостей запаливали сразу штук пять. Но, пока все двигались и размещались, в избе нисколько не светело — желтое пламя лучин моталось, дрожало, по стенам и потолку плясали причудливые тени. Светело, только когда все рассаживались и становилось слышно частое фыканье угольков, падающих в воду, в корытыца светцов. Вечеряли не спеша, добавляя к кабалинской похлебке и шаньгам кто что имел в дорожном припасе. Разомлев от еды и тепла, соловели, потели, скидывали с печи на пол подсохшие горячие кожуха и полушибки и валились на них, обмякшие, блаженные. Кое-кто тут же и всхрапывал, но большинству вскоре было уже не до сна — дед уже бередил, уже разжигал их своими вечными, бесконечными расспросами.

«Какой нынче на Мезени яцмень? — говор у Никифора Никитича был тоже самый что ни на есть пинежский. — Каку брали семужку?.. Достроил ли в Палеме Аким-хромой свою хитру мельницю?.. Было ли еще где, что на Агриппину-купальницю лошади не хотели идти в реку? На Пинеге было. Оттого, непонятно... Что слыхать про волю? Верно ли, что мужики на Волге хотят земли вовсе без выкупа и бунтуют, жгут господ и разоряют казенки — не желают больше пить вина?..»

Гости таращат глаза; они и ведать про то не ведали, откуда ему-то известно?

— Целовек верной сказывал...

Дед был не только любопытен, но и мудр, и чаще всего получалось, что через какое-то время уже не обозники ему, а он им что-нибудь рассказывал да объяснял. А ведь среди них тоже были люди очень знающие и умные, а уж видели-то некоторые столько, что Марьюшку зависть брала: и в Петербурге бывали, и в Москве, и в Сибири, а некоторые на лодьях и по студеному океану аж до самого Груманта хаживали. Девчонкой, пока она глядела на них с печки, Марьюшка не очень-то понимала, почему так происходит: почему все так слушают и любят деда? А потом стала понимать, что он говорит всегда то, что интересно и нужно знать всем, об очень важном для жизни говорит. И она в такие вечера не пропускала уже ни одного слова. Уйдет в бабий кут мыть посуду и моет ее тихо, старается ничем не громыхнуть, не стукнуть, вслушивается во все, что говорится за пестрой сиреневой занавеской, отделяющей кут от остальной избы.

А когда уж притомятся мужики и дух в избе станет совсем тяжкий, и дед приоткроет в сени дверь, и никто уже не будет менять

все пять лучин, будут гореть лишь одна-две, и лежащих от них вдали совсем уже невозможно будет разглядеть в сизой зыбкой полумгле, тогда-то кто-нибудь и скажет:

— Спеть-то споешь, Никитич?

Дед заповорачивается, запокашливает и чуть надтреснуто, но еяятно и вкрадчиво зарокочет:

Што из далеча да из чиста поля,
Из того раздолья широкого,
Тут не грузна туча подымаласе,
Тут не оболоко накаталосе...

Светлые глаза его под кустистыми бровями затуманятся, весь он тихонько запокачивается, бороду вздыбит.

Тут не оболоко обкаталосе,
Подымался собака, злодей Калин-царь...

И заволнуется, сверкнет глазами, голос возвысит. И он станет чистый и гулкий. И, хотя каждый, конечно, знал эту старину, слышал с детства десятки раз, напряженный гулкий бас все равно словно подхватит его и понесет в немыслимую даль, в эту самую старину, когда по земле ходили и всамделишный собака Калин-царь, и всамделишные Алеша Попович с Ильей Муромичем — дед называл его только так,— а во стольном во граде во Киеве правил Владимир-князь — Красно Солнышко...

Марьушка слушает и в который уже раз думает, что старины — это голоса времени, голоса прошлого. И еще думает, что, если бы все старины вдруг по чьей-то воле исчезли, исчезло бы и прошлое, как будто его и не было. А ведь было. Было же! Вот как все зыбко-то! Вот, значит, сколько заключено в простых привычных словах, сложенных в напевы!..

В душе от этих раздумий что-то холодело, тревожно сжималось...

Дед знал множество старин: про молодость Добрыни и бой его с Ильей Муромичем, про купание Добрыни и бой его со змеем Горынищем, про Алешу Поповича и сестру Петровичей, про Соловья Букинировича и Забаву Путявицыю, про князя Михайлу, про Ивана Грозного и его сына... Знал даже старину, которую не знал больше никто: про Вавилу и скоморохов. Но пел ее редко. Остальные же, если разойдется, мог раньше петь одну за другой хоть всю долгую зимнюю ночь, и не было случая, чтобы даже те, что уснули с вечера, не проснулись и не слушали бы его.

Но последнее время и тут стал сдавать Никифор Никитич; однажды старины пропоет и засипит, задохнется, виновато разведет руками.

— Голосу не хватат... — И к ней, к Марьушке: — Давай подхватывай!

А она уж на лавке у печки сидит, уже приготовилась. Выждет момент полной тишины, откинется назад, курносый нос вверх, на выпуклом широком лбу испарина — волновалась, не могла не волноваться! — большие глубокие глаза тоже вверх и уж ничего не видят. Зачастила звонко, сразу играя голосом:

Во тауль и во городи,
Во тауль в хорошем-е
Поизволил наш царь-государь,
Да царь Иван Васильевич.
А поизволил жинитисе,
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас в каменной Москвы,
Да у царя в большой орды
Кострюка, сына Демрюковича,
Да у его на родной сестры
Да на Марье Демрюковны...

Это был «Кострюк», которого на Пинеге очень любили. Даже тех, кто еле-еле напевал старины, и то всегда просили исполнить именно его, и многие только его и умели петь. Петь-рассказывать о забавном случае, который якобы произошел во время женитьбы Ивана Грозного на этой самой Марье Демрюковне. Сначала царь, как полагается, отправился в Орду свататься и там «пировал-жировал государь», а «оттули поход учинил» назад, «во свою-ту в каменну Москву, да он ко церкви соборное да к монастырям церковное, да они венъцями повенъцалисе да перснями поменялисе». И снова «пировал-жировал государь».

Говорил его шурин тут,
Кострюк, Демрюков сын:
«Уж ты ой еси, царь-государь!
У вас есть ли в каменной Москвы,
У вас есть ли таковы борцы,
А со мной поборотисе.
А с Кострюком поводитисе?
Да из дани, да из пошлины,
Из накладу-то великого?»
А говорил тут царь-государь,
Да царь Иван Васильевич:
«А любимый дядюшка!
Да Микита Родоманович,
Уж ты выди-ко на улоньку;
Затруби-ко в золотую трубу,
Штобы чюли за рекой за Москвой,
Штобы чюли три брателка
Да три брата родимые:
Первый брат и Мишенька!
Второй брат и Гришенка!
А третьей брат и Васенька!..»

Современному человеку трудно представить себе пение старинщиков. Ничего похожего или близкого к их манере теперь не существует. Поэтому большинству поначалу оно показалось бы и не пением, а довольно монотонным речитативом. Но это только поначалу — минуту или две, не больше,— а потом эта монотонность обернулась бы совершенно неведомой и удивительной звуковой ритмикой. Как будто волны звуковые-голосовые на тебя накатывают с голосовыми же всплесками-гребнями. И они все шире, эти волны, все могучей, как в разошедшемся море, а всплески все выше, все напряженней, и каждое слово окрашивается ими необычайно, становится тоже очень напряженным. И уже поражаешься и не понимаешь, как у человека хватает на все это дыхания и голоса, ведь старины очень длинные. Но зато тут же хорошо понимаешь, нет, не просто понимаешь, а всем своим существом ощущаешь и осознаешь, что это именно пение, может быть, самое изначальное, какое только знал человек, но потому-то и самое страстное и магическое. Оно завораживает, оно волнует и необычайно возвышает, это пение, и открывает перед тобой не только то, про что поется, но и нечто большее, невероятно важное и такое же огромное, древнее и родное, как сама мать-земля.

А у Марьюшки ведь и голос был необыкновенной теплоты, нежности и силы, и, кроме того, она еще безумно переживала и волновалась, словно та свадьба, о которой пела, происходила не сотни лет назад и не на царском дворе в белокаменной Москве, а совсем недавно и рядом, при ней, при самой Марьюшке, и впечатления от этой свадьбы были такие яркие, что она никак не может успокоиться: торопится, частит, а временами и вовсе захлебывается, давится от смеха, даже слов не разобрать...

Замоскворецкие брателки Мишенька, Гришенка и Васенька, конечно, учуяли-усыпали зов золотой трубы, явились на царский двор. А Кострюк-то все «поскакивае, Кострюк поплясывае». Он кичится своей силою, он уверен, что выиграет великий заклад.

Однако старший из братьев, Мишенька говорит царю: «Мне-ка не с кем боротися». И Гришенька не хочет марать руки об ордынца. И лишь младший, Васенька готов с «ним поводитися», но

...я топеря со царева кабака,
У меня болит буйна голова,
Шипит ретиво сердце...

Ему трижды наливают для опохмелки чару вина, «да не велику — четвертиною», и только после этого Васенька схватывается с Кострюком. Но тот сшибает его не единожды, а дважды, и Вася даже охромел, но все же на «ножку-то спровалился», за одежду супротивника «сграбился», всю порвал и поднял его. «На руках-то ей потрехивает, до земли-то не допускает». И тут-то через рванье все увидели, что это вовсе не Кострюк-Демрюк, а сама Марья Демрюковна.

Да она проклиналасе,
Да она заклиналасе:
«Да не дай бог бывать здесь,
У царя в каменной Москвы!..»

Эти слова Марьушка уже и не поет, а проговаривает, еле сдерживая новый приступ смеха, а ее ослепительно сияющие глаза устремлены вверх — туда, где Васенька потряхивает эту обнажившуюся вдруг во всех своих женских прелестях Марью Демрюковну. Она видит ее. Она даже обхватила себя за узенькие плечики и, раскачиваясь, долго и звонко хохочет, никак не может остановиться.

И все мужики в избе тоже хохочут. Они тоже видят эту Марью Демрюковну и скокливого Кострюка и как пировал-жировал грозный царь. «Пировал-жировал!.. Жи-ро-вал!» — ну как тут его не увидеть!.. Некоторые даже приподнялись и сидят теперь на своих одежах, вытирают обильную испарину и неотступно, завороженно смотрят на Марьушку, кто-то даже торопливо запалил еще две лучины, чтобы было хоть немного посветлей.

Дед удовлетворенно кряхтел.

— Может, «Усишша»?

— Могу. — Она знала пятнадцать дедовских старин. Несколько пока не выучила, он их почти не пел.

Ненадолго стало слышно, как неплотные ворота внизу сиротливо жалуются на лютый ветер.

4

Праздники метищо бывали только на севере. Тоже в разных деревнях в разные дни, но все в июне-июле, вблизи иванова дня или как раз на него. Гостей собиралось еще больше, чем на масленицу, потому что некоторые участвовали почти в каждом метище, хотя никакого большого веселья в этом празднике не было. Да это и вообще не столько праздник, сколько особое гулянье, в котором непосредственное участие принимали только девушки, а все остальные — зрители.

Утром деревня почти безлюдна. Маячат, правда, редкие мальчишки и мужики, но только у домов, и вид у них выжидательный, не-прикаянный. А парней, так тех и вовсе не видно — они спозаранку уже сбились в стайки и уже за околицей, у той лужайки, где начнется метище.

Женское же население все поголовно в эти часы в домах и, в основном, в светелках-вышках, где живут обычно девчата. Все сундуки там сейчас распахнуты, коробья и ларцы тоже, и на крышках этих сундуков, на постелях, на столах и лавках заботливо разложено и развешено великое множество ярких разноцветных сарафанов, рубашек, юбок, платков, душегрей, лент, бус... Буквально все ими заня-

то, и у свежего человека от этого многоцветья даже в глазах рябит. Пахнет везде очень празднично, уютно: чистыми лежалыми одеждами, вобравшими в себя дух полыни, которую тут кладут в сундуки от моли и жучков, а снизу из горниц еще и жаром каленых утюгов — там обязательно кто-нибудь что-нибудь спешно доглаживает и подпалит... Вещи вокруг есть необычайно красивые, особенно среди сарафанов и душегрей, по-здесьнему — шубеек-коротен, похожих на легкие расшитые жилеты; есть из парчи, из шелка, атласа, рытого бархата. А рубашки есть из тонкого полотна, с кружевами. Головные же повязки, представляющие из себя высокие шапочки конусом, все из золотого позумента, расшиты жемчугом и цветным бисером.

Обряжаются в это утро во всех домах, где есть девицы, но там, где это делают в первый раз, обстановка особо напряженная, радостно-тревожная, ведь вчерашинюю девчонку, по существу, посвящают в совершеннолетие, признают за ней полное право встать в этот день в ряды готовых невест.

И звали Марьушку, не звали, а она в такой дом завсегда придет. Хотя тоже участвовала в метище, правда, не впервые, и тоже в это утро обряжалась. Да вот поспевала: прибежит уже вся с иголочки и всем пособляет, сыплет шутками и припевками...

«Именинницу» ставили посреди многоцветья нарядов совсем голой, только волосы были уже убраны. Девушка, конечно, опустила голову и покраснела от смущения, столько ведь глаз вокруг, да еще Марьушка всплескивает руками, причмокивает и громко восторгается:

— Эко наливно да румяно яблочко-то у вас поспело! Эка в дому радость завелась!.. А ты не гнись, не гнись! Ты знай, что гожая..

Старшие сестры и подруги девушки подносят и помогают ей надеть белую рубаху до колен, затем нижнюю розовую юбку, затем верхнюю кремовую рубаху и красный сарафан, еще одну рубаху и розовый сарафан, еще рубаху и лиловый сарафан и каждый подпоясывают цветным шелковым поясом. А присутствующие все разглядывают, пощупывают, нахваливают: «Порато баско!» — мол, то есть очень красиво. Затем на девушку надевают четвертую, белую кружевную рубаху и четвертый, самый нарядный муаровый переливчато-синий сарафан, и она из тоненькой превратилась уже в весьма плотную, величаво-статную и ослепительно сияющую. Не поймешь даже, что ярче — то ли июньское утро за окошками, то ли она?.. А кто-то уже держит ей белый платочек на голову под повязку: «Чтоб не пропотело!» Приготовлено и несколько шелковых цветных платков на плечи, чтобы менять их в течение дня, как и еще три нарядных сарафана и шубейка-коротена, расшитая золототканым узким позументом, и другие кружевные рубахи, которые она тоже будет переодевать в течение дня, чтобы показать на метище все, что у нее есть, все приданое... Наконец сама мать бережно, обеими руками поднимает со стола высокую, горящую золотом, жемчугами и цветным бисером повязку и торжественно возлагает ее на голову дочери, будто венчает на царство. И она взаправду становится похожа на сказочную русскую царевну, потому что кроме всего, уже названного ей на шею надевают еще несколько коротких и длинных, толстых и тонких ниток солнечных янтарей и пурпурных кораллов и дивные жемчужные переплеты, свисающие с повязки, закрывают ее лоб и виски, сзауди же к повязке прицепляют столько ярких длинных лент, что они струятся по ее спине живым радужным шелковым водопадом.

Все затаили дыхание.

Мать с гордостью поясняет:

— И повязку сама расшивала. Весь узор ейный, ни с кого не брала. С двенадцати лет все с иголоцкой да с коклюшками.

Марьушка цветет не хуже «именинницы».

— Много метищ видела. И мастерниц видела славных. А ты все

ж луще всех. Надо же, какие узоры составила! — И поцеловала улыбающуюся девушку, и низко поклонилась ей.— Дай тебе бог жениха самого расхороншего, развеселого и разумного, работящего и непьющего, и жену не бывающего!.. Может, уже и глянулся кто, а?..

И, хотя похоже Марьушка говорила не ей одной, слова эти все равно западали в душу девушки на всю жизнь, как западал и весь этот удивительный для каждой северянки день. Ведь к нему готовились помногу лет, с того самого момента, когда начинали шить-вышивать себе приданое, разные наряды да белье. Марьушка тоже шила-вышивала, и как ни трудно им жилось, но и дед, и мать, и бабушка выкраивали каждую копечку, чтоб только что-нибудь прикупить для нее: кусок батиста, или галуна, или ниточку жемчуга. Дед для этого на николу-зимнего на пинежскую ярмарку нарочно беличьи и лисьи шкурки возил, а раз и целого медведя. Такое уж было на Пинеге заведение: иные бились из последнего, но девок обихаживали — сундуки стояли к сроку полнехоньки. И у нее был полнехонек, хотя после пятнадцати и шестнадцати она нет-нет да и призадумается, и даже хихикнет: а кому она, такая пигалица, может спонадобиться? На метищо ее за другими никто и не увидит... И все же ходила на каждое вот уже который год...

— А теперь гляди-ко!

Марьушка приподняла подол своего длинного сарафана-синяка и показала, как надо переступать, почти не поднимая ног. И как будто прямо на глазах выросла, стала намного выше и не шла, а истинно плыла, ни разу не колыхнув плечами. Показала, и как при этом держать кисти рук, локти, голову.

И все удивленно переглядывались, потому что делала она это, как никто.

А стоявшие у двери бабы потихоньку завздыхали-заохали:

- И таку девку боятся взамуж взять!.. Сколь ей уже?
- Двадцать три.
- Ну-у!
- Заневестилась...
- Но ить и правду сказать, больно махонька...
- И дед помер, царство ему небесное! А у Евдокима своя семья...

И вот обряженная девушка уже ступила с крыльца на теплую июньскую землю и, памятуя наставления Марьушки, действительно не пошла, а величаво поплыла по шелковой цветастой траве-мураве. И, откуда что взялось, тоже не колыхнется! А уж статна-то, уж дородна и округла!

На Пинеге чем девушка полнее, чем дородней, тем она считалась красивей, значительней, тем выше ценилась. Для того на них и по четыре рубахи и по четыре сарафана надевали. Но Марьушке и это не помогало.

Из многих домов появляются такие ослепительно яркие и дородные девушки. И каждая тоже держится и двигается только плавно и величаво, во всяком случае, вовсю старается так держаться и двигаться. Некоторые подолгу специально вырабатывали такую повадку, потому что показать стать и умение держать себя на метищо не менее важно, чем показать фигуру и лицо и все свои рукодельные наряды.

Девушки собираются в стайки, разворачиваются в шеренги и плывут по улице к окопице, к той лужайке, обочь которой расположились парни и основные зрители, хотя здесь, в деревне, их тоже теперь полно — у всех изб, на крыльцах, на завалинках, в окошках. А улица вся свободна, на ней только развернутые цепочки девушек, одна за другой. Выпливает такая цепочка к лужайке, а там по обе ее стороны уже стоят длинными рядами девушки, пришедшие раньше. И новые все враз отвешивают им чинный поясной поклон, и те отвечают им

тоже поклоном, но одна за другой, от края до края, и получается, как будто по рядам живая цветная волна катится. Потом вновь пришедшие так же чинно и поясно кланяются зрителям и пристраиваются в ряды. И все это в полной тишине, потому что и зрители молчат и только парни если хмыкнут или пошушкаются: у них ведь работа, они ведь пристреливаются — приглядывают себе невест, ради этого метища и происходят. Массовые смотрины... Парни шарят глазами, стараются усмотреть как можно больше...

А цепочки выплывают новые и новые — с других сторон, из соседних деревень. А парни и гости есть вообще из далекого далека — сколько сразу девок-то можно увидать. А у них все поклоны, поклоны. Все молчком, молчком...

Когда же становится ясно, что все собрались, из рядов одна за другой выступают так называемые повязочницы — их бывает не так уж и много, большинство же в платках, хотя повязки есть у всех, но одевают их только те, кто уверен, что ее творение будет лучше, чем у других, — так вот, повязочницы выступают вперед и все так же плавно и неторопливо образуют ряд, причем как-то так всегда получается, что в этом ряду девушки особенно красивые и особенно нарядные и повязки у некоторых просто диво, бывают сплошь в жемчугах или даже все шитые золотом... А остальные девушки в разноцветных шелковых платках свободными рядами размещаются за ними, и вся эта масса плавно трогается с места и втекает в деревенскую улицу.

Марьушка в первые ряды не становилась; смешно, подумают, что девчонка. Но по наряду и по голосу вполне могла становиться. Ходила сразу за повязочницами. Иногда и песни заводила, хотя это хорошо умели и многие другие, певуний в каждой деревне хватало, петь все любили.

Выводили сразу высоко и призывно:

Вы премилы девушки...

Десятки голосов распевно подхватывали:

...да вы же придите в гости к нам.

Первый голос опять в одиночку:

Ой, вы попросите батюшка...

Тут уж подхватывают почти все:

...да самого в гости к нам...

В эти минуты пение еще не очень стройное, но слаживаются девушки быстро, разбираются на голоса — опыт-то у всех богатый, — и скоро широкая переливчатая мелодия с яркими вокализами течет так же плавно и размеренно, как и многоцветная процессия:

Попросите родного да самого в гости к себе,
Э-ой, ко желанной мамушке да в зелен садик погулять...

Солнце ли на ясном небе или хмаръ, все равно ярче этого дня на севере не бывает. Цветущие вокруг луга — ничто по сравнению с этим буйством красок. Даже птицы и те шалеют, мечутся над деревней и испуганно кричат, не понимая, откуда это взялись такие огромные и такие ослепительно многокрасочные цветы, и так много, и почему они живые, почему они движутся, текут по улице: густо-малиновые цветы, палевые, золотые, кубовые, брусличные, соломенные, васильковые, снежные, лиловые, понебленные, маковые. Краски эти вспыхивают, плавятся, брызжут, переливаются, слепят, звенят, перекли-

каются и плывут, плывут не только по улице, но и в стеклах изб, и в глазах завороженных зрителей, у которых даже головы кружатся от этого...

Два часа ударило — да у меня
милый не бывал.
Третий час ударило — да ко мне
милый подошел.
Ой, миленький-хорошенький, да до чего
ты меня довел!
Довел красну девушку да до славушки
до худой,
Довел красну девушку да до славушки
до худой,
До худой до славушки да вынял
краску из лица!..

Движутся девушки все так же чинно, но щеки у большинства алеют все сильней, глаза блестят все ярче, они ведь тоже за всем следят и все подмечают: кто да как на какую взгляывает, как оценивает ее саму и повадку, ее рукоделие, ее вкус, понял ли, какое у нее богатое приданое.

Процессия дошла до конца деревни и повернула обратно. Полилась новая песня.

Родители и родственники участниц, конечно, среди зрителей и, конечно, вовсю переживают, ревниво сравнивают внешность и наряды своих и чужих, вслух все обсуждают, спорят, бывает, даже и сцеплятся, и, если мужики уже в подпитии, могут и кулаки под нос сунуть. Но до настоящих драк в начале гулянья все же никогда не доходит — времени еще в достатке... Некоторые родители и родственники норовят, чтобы их мнения услышали и парни, чем черт не шутит, авось падет слово на душу... И все, кто постарше, обязательно вспоминают о каких-то своих метищо. Кто-то ведь именно в такой день нашел друг друга, кто-то власть тогда повеселился, а кто-то, наверное, и впервые подумал, что хватит смешить людей и попусту наряжаться — толку, видно, все равно не будет...

Марьюшка нынче про это тоже подумала. Подумала, да тут же и позабыла, захваченная новой песней.

...Сядем-ко, любушка, по...ой, побеседуем
со мной,
Выпьем-ка водочки, ой, сля...ой, сладки
прянички съедим...

У другого конца деревни снова медленный разворот.

Сопровождаемые на некотором расстоянии ребятней, девушки плавали-гуляли по деревне еще часа два, пока не перепели все подходящие к этому дню песни и пока хождение и пение не надоело им самим и зрителям.

Остановились, рассыпались в стайки, к ним тут же потянулись парни, начались знакомства, затеялись игры, хороводы, заплескалось веселье, песни зазвенели уже разные в разных концах, и все больше частые, плясовые, в одном месте и под балалайку, а в другом под гудок; у некоторых на Пинеге и такой древний инструмент сохранился.

Марьюшкины каблуки аж стрекочут — всюду хочет поспеть.

А какой это день, позабыла начисто, главное, что праздник.

И вдруг стайка из одних только парней, из шатогорских. Все выпившие. Все в суконных сибирках и суконных картузах. Сибирками и картузами тогда все щеголяли; у кого своих не было, на метищо нарочно одолживали. Стоят, как туча, правые руки в карманах — видно, оружие там какое было, бить кого-то собирались.

Марьюшка к ним. И прямо в середку этой тучи да завертелась там юлой да зачалила:

Мастера наши ребята
Песен-басен запевать,
Песен-басен запевать
Да девы круги завивать,
Да девы круги завивать
Да наших девок обнимать...

И уж так-то у нее все смешливо, что парни задергались, не знают куда деться. А она им прямо в лицо поет, то одному, то другому, во весь окрест слышно... И все больше на самого хмурого и самого длинного наседает — на Тихона Кривополенова. Смешно — она ему даже ниже чем по грудь.

Он хорошу-то — дважды,
Пригожу-то — три.
А худу-то худерьбу
Да для прилики обойму.
Что худа-то худерьба
Прирасхвасталась пошла,
Прирасхвасталась,
Приразбахвалилась:
«Меня парень обнимал
Да за хорошу почтал...»

А сама головкой-то в сторону, в сторону, будто этим парням на кого показывает. Вокруг, понятно, смех, а парни уж и руки из карманов повынули, а Тихон стал ей приплясывать...

«За хорошу, за пригожу,
За разлапушку...»

А потом так за ней и пошел, и оба улыбаются...

5

Возле устья Ежути на плесе под самой горой была огромная ямина, целое озерцо. В половодье ее залывало водой, и туда из моря через Северную Двину и Пинегу приходила семга и оставалась на все лето, ждала созревания икры. И в Пинеге ждала. И ничего за эти месяцы не ела, жила за счет своего жира. Она ведь питается селедкой, а в реке селедки нет. К осени же, когда икра наконец созревала, начинался полаз: огромные, иногда до двух саженей в длину, заостренно обтекаемые рыбины с темно-серыми крапчатыми спинами лезли из Пинеги и из ямы по протокам в Ежуту, лезли в верховья этой таежной холодной речушки. Они там нерестились. А потом те, что уцелели, скатывались обратно в Пинегу, из нее в Северную Двину и дальше в море, отъедаться...

Ох и много же брали за лето семги в той ямине под горой. Мужики по пятьдесят рыбин из бредня за один заход вынимали. А ребята иной раз даже корзинами цепляла. И бабы, и девки ловили. Эти делали бредешки по своим силам из рядна, из старой мешковины. С настоящей-то счастью им не управиться, да никто бы им настоящую и не доверил. А так они распорют три-четыре еще крепких мешка, сошлют мотню и крылья, на конец мотни и по низу крыльев понавяжут каменьев, по краям палки и пошли себе по мелководью вдоль бережка, где трава и осока, семужка там грелась. Случалось, вытаскивали очень приличных. Но больше, конечно, щурят да окуней — они мелководье любят. А тоже ведь хорошо, особенно если щурят зажарить.

В тот день, как и в несколько предыдущих, было не по-летнему холодно, серо, с утра два раза принимался дождь, но Марьюшка все же обежала товарок, уговорила еще троих сходить под вечер порыбачить. Прежнюю рыбу доели уже дней пять назад и пробавлялись

одними только щами и пирогами с картошкой и луком. Рыбки очень хотелось.

С горы спускались прямо по траве, она хоть и мокрая, и скользкая, но все же не такая, как дорога и тропинки, там глина, там на верняка бы поползли или сверзились.

Пока снимали сарафаны да кофты да обувку, уже мерзли и в воду пошли прямо в верхних рубахах. А в ней оказалось намного теплей, даже обрадовались, сколько-то сидели, опустившись по горло, и улыбались — отогревались. Но только хотели начинать, опять пошел дождь, да такой холодный, что в мокрых рубахах под ним было совсем невмоготу. Но не возвращаться же, ничего не поймав, если все равно все в воде. Стали заводить бредень чуть ли не бегом, насколько хватало сил, а Марья и вторая загоняльщица еще и прыгали, крестились, лупили по воде палками и кулаками — полную водяную кутерьму устроили. Со стороны бы кто увидел, подумал, рехнулись девки или водяной их попутал и играет. Но ведь помогло — чуток разогрелись, третий раз заводили уже спокойней и одну среднюю семужку все-таки взяли и всякой мелочи.

— Бог в помочь, красавицы!

Глядят, а у ракиты тот длинный шатогорский Тихон стоит, Кри-вопленов, мокрющий, сапоги доверху в глине.

Плюхнулись вместе с бреднем по шейки в воду. В мокрых поналипших рубахах-то они все равно что голые, срамно.

— Це плялиси?! Це плялиси-то?! Ступай, куда шел!..

Не уходит Тихон, торчит, как жердь.

— Марья, я к тебе.

Это за пятнадцать-то верст...

Три мокрые головы над водой повернулись к четвертой, к Марьешке. А у нее глаза вспыхнули, и, хотя скуластое лицо сек дождь и на нем поналипли темно-русые волосы и вокруг не стало теплей, оно все равно ярко заалело, засветилось.

— Да уйди ты хоть за кусты-то; мы вылезем, оденемся...

И зашептались девки, вылезая и торопливо одеваясь, что, видать, свататься надумал, коль в такую непогоду приперся. Шепотом же спрашивали, знает ли Марья, что он бедный и сапожничает, ходит по деревням и что родители его померли, а домишко у них в Шатогорке капельный, по одной комнатке вверху и внизу, и крыт лабазом, то есть не имеет крыши, а прямо по бревенчатому потолку засыпан землей.

Товарки, оказывается, все знали.

Да и Марья это знала, сказала только:

— И це? Ни це! Зато песни любит...

6

Надо бы соснуть, дорога завтра трудная. Но сон не шел. Никак не шел. Шли воспоминания, как год назад, нет, уже больше года, еще перед тем вербным воскресеньем, они лежали с Тихоном на этих самых полатях, на этом же самом месте и он прижимался к ней, а она чуть слышно смеялась...

Они тогда шли с Тихоном в Вологду, он еще до венца ее уговорил: «Айда да айда!» А она ни в каких городах не была, да даже и в родной Пинеге-то не была. А он ей все про большие каменные дома рассказывал — такие же, как в Москве, про целые улицы лавок, про барские кареты, про фонари, от которых ночью светло, как днем. Терпежу не стало, до чего захотелось все это увидеть. Как обвенчались — а это было восьмого февраля, — так сама начала торопить: «Пойдем да пойдем, пока стоят зимники! После ведь не дойти». Чезрез полторы недели и двинулись.

Тихон говорил, что снять в Вологде какой-никакой угол легче легкого, что он станет там сапожничать, а может податься и в затон, работу с лесом тоже знает. И верно, нашли себе даже не угол, а целую комнатку в подвале, и совсем незадорого, с большой плитой да еще вблизи речки Вологды — прям из окошка за соседним домом ее и видно, надо только привстать на лавку, чтоб смотреть сверху. Взял Тихона и один сапожный мастер, но после пасхи сказал, что не годится. Не годится, так не годится — пошел с мужиками из их же дома на свечной завод. Они почти все там работали, он дымил неподалеку, труба кирпичная, высоченная, как ветер оттуда, так несло порченым горячим салом. И одежа у мужиков им пахла. Хозяйка сговорила Марью их обстирывать, по двадцать копеек в день выходило. А у Тихона по сорок.

Хорошо было в городе. Хорошо и интересно. Очень интересно. Полно церквей, все красивые. Домов не перечесть, есть большие, даже огромные, и тоже очень красивые, каменные. И улицы есть каменные — земля устлана круглыми каменьями. Ходить жестко, каблуки стучат, подводы грохочут, подковы цокают. В первые дни даже шалела от этого страшного шума и не понимала, как городские его не замечают. Но потом ничего, обвыклась, а вскоре даже сама полюбила стучать каблуками — ей все казалось, что шаг у нее побойчее, позвонче, чем у других, хотя с лета была уже тяжелая.

И еще полюбила Софийский собор. Как только увидела его и подошла близко, задрала голову вверх и почувствовала, какой он мощный и высоченный, так сразу и полюбила. Рыхлые мартовские облака были тогда совсем рядом с легкими золотыми крестами, а может быть, даже и ниже их, она не разобрала, не успела, ей показалось, что он живой, что он куда-то плывет мимо нее, этот огромный белоснежный собор. Голова чуть-чуть закружилась, но это было так здорово, так удивительно — плывущий собор! А внутри он был еще огромней и красивей. Она даже не видела, где он там, наверху, кончается, видела только прямоугольные серебристые столбы света, а сквозь них и ниже — золотисто-голубых и коричнево-красных ангелов и святых. Необъятный иконостас, который тоже неизвестно где кончался, весь горел, мерцал золотом, а в пламени свечей жарко полыхал и слепил. Пел хор. Пел где-то наверху, она не поняла, где именно, но казалось, что он поет прямо за спиной и рядом слева, и рядом справа, и впереди, что поет весь этот исполинский каменный чертог — звуки были необычайной силы и глубины. И они не умирали, они, совсем как в лесу, катились куда-то далеко-далеко, истончались до комариного звона, и казалось, что вот-вот вернутся назад. Ей безумно захотелось тоже попеть здесь, но попеть одной, чтобы услышать, как откликнется собор на ее голос. И потом каждый раз, когда она приходила сюда, этого хотелось все больше, прямо душа разрывалась, до чего хотелось попеть одной.

А вечерами полюбила смотреть в чужие окна, пока их не закрывали ставнями. В городе с лучинами никто не сидел, жгли свечи, а в господских домах и яркие-яркие лампы со стеклами, в которые наливали какую-то жидкость, и, если окна не занавешивали, с улиц внутри все было видно как на ладони. Необыкновенной красоты столы, шкафы, стулья, бронзовые фигуры, подсвечники, большущие зеркала и картины в золотых рамках — это, конечно, только в господских домах. Но у людей попроще тоже было полно хороших вещей, каких в деревне никогда не встретишь: какие-то разлапистые крупные цветы, фигурные самовары, клетки с певчими птицами, деревянные часы со звоном, шторы с бахромой.... Правда, стирки было много, и ходить вечерами приходилось все меньше и меньше, да и уставать стала, но хоть и редко, но все же выбиралась, и чем лучше жили за окнами люди, тем большее удовольствие она испытывала, подглядывая за ними. И все сильнее удивлялась, до чего они все разные. Рань-

шёто и думать не думала, что в городе люди такие разные и что на свете вообще столько разных господ, военных, купцов, мастеровых, монахов, торговцев, богомольцев... И как богатые нарядно одеваются — даже по будням, в каких распрекрасных ездят каретах!

А говор у многих совсем без оканья, без цоканья и мало напевный. Одни лишь приказчики в ярких шелковых рубахах и с намасленными волосами вовсю пели-зывали покупателей в свои лавки, особенно которые в гостином ряду. Там лавки были под широким навесом на толстых столбах; непогодь какая или дождь, все равно можно ходить спокойно. Вот они у каждой двери там и стояли и всем достаточным людям кланялись, и уж даже не пели, а разливались, точно словьи: «Разлюбезные-распрекрасные! Вот товары разные... Не зайдете — пожалеете!.. Купить не поспеете!» И так, не разгибаясь, и дверь распахнет... А внутри-то на полках и правда разность на разности хоть из одежи, хоть из еды: аршинные головки сахару в синей плотной бумаге, румяные, припудренные мукою пахучие калачи, цветные свечи, разрисованные жестянки китайского чая, толстые штуки синего, черного, серого и красного сукна, крупы, стопы писчей бумаги, говяжьи и свиные туши, сапоги, изюм, пустые гильзы для папирос, мука, книги, подсвечники, здоровенные колеса сыра, ленты, ружья...

И лишь одно не нравилось ей в городе: тут почему-то никто не пел старин. Многие городские их даже и не знали. И никто вообще ничего не пел в полный голос, только в церквях да пьяные на улицах, и то пока поблизости не было городовых. Но она это не сразу заметила. Она поначалу пела себе и пела, как всегда. Стоит у огненной плиты, над которой клубится горячий, пахнущий щелоком и порченым салом пар, ворочает палкой тяжелое кипящее белье, а перед глазами у нее то вдруг туман над предрассветной Пинегой, когда деревья близ нее как будто ни на чем не стоят, а висят в дымчатом подсиянном воздухе, то вдруг весеннее гулянье там же внизу, на лугу, только что просохшем от вешних вод: девки плетут хороводы, берутся сзади за платки друг друга и идут кругом.

Да кабы у девки,
Да кабы у девки
Был сад в огороде,
Был сад в огороде.
Да я со вечера в саду,
Да я со вечера в саду.
Водой поливала,
Водой поливала...

Пела она себе так, пела в полное удовольствие у плиты и корыта, как вдруг видит раз, на комнату тень большая набежала. Глаза подняла, а окошко все заслонено — перед ним человек сидит на корточках. Так-то там все ноги да подолы мелькали, а тут человек нарочно присел, и она его сразу признала — соседского дома дворник. На раму навалился, та хрустит, а лицо удивленное — хочет разглядеть через пар, кто это горланит. Она стихла, а он и говорит: «Эй, чего ты?!» Но она не знала, что ответить, и не ответила, и тогда он покачал головой, встал и пошел к их хозяйке, и та в тот же день сказала, что Марья хоть и славно поет и она-то сама любит ее слушать, но к чему орать? В соседнем доме поручик с семейством проживают... Велела петь потише.

А что это за пение-то потихоньку, когда так безумно хочется петь. Ведь был июль, теплынь, небо розовело почти до полуночи, вечерами слышались все далекие звуки, пьяно пахли заполнившие двор, разогретые за день полынь и лопухи, свежие дрова в костре — так здесь называют поленницы,— теплая зора, сваленная у забора.

Как ей хотелось посидеть в эти вечера в этом дворе на лавочке, а еще бы лучше пойти за Софию и посидеть там на зеленом береж-

ку Вологды и поглядеть на заречное раздолье, подышать сладким луговым воздухом...

Но стирки было много, и давалась она день ото дня труднее, и поэтому Марья никуда уже не выходила и не ходила, все стирала, стирала да тешила сама себя понемногу да потихоньку:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина да неслыхальщина.
Ишка сын на матери снопы возил.
Все снопы возил, да все конооплены.
На гори корова белку лаяла,
Ноги расширя да глаза выпучла.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина да неслыхальщина.
Ишка овца в гнезди да яйце садит.
Ишка курица под осеком траву секет.
По поднебесью да сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом при направливает...

А потом запил Тихон. Она смеялась — разных пьяниц видела, но такого, как Тихон, все же первый раз. Заладил каждый день с самого рання — работу на свечном, конечно, бросил, — и, чего в следующий момент выкинет, угадать нельзя. То веселый-развеселый, принесет леденцов, маковок, баранок — и где только денег брал! — потащит ее плясать или станет гладить ее окружный живот и приговаривать, чтоб родила ему сына Максима — росту два аршина. Всеми своими коно-пушками сияет, ее слушает, велит — пособит чего надо и лечь согласный... да вдруг остановится, и в рыжих глазах его уже какое-то блуждание, и ничего они вокруг себя не видят, ничего он не слышит, слова не вытянешь, только все больше хмурится, мрачнеет, сырь сымом. Тяжело сопя, куда-то пойдет или убежит и то вернется через час, то через день.

Недели две терпела, наконец сказала, что пора кончать, что на ее двугривенные не прокормиться, в доме вчера и хлеба не было. А он будто не слышит. Повторила еще и видит, что он и впрямь не слышит, в глазах блуждание...

Потом перестал. Ходил, грузил баржи, колол дрова. Вечерами и ей дров приносил. Сидел, слушал ее рассказы — она от соседей и от разных знакомцев много чего узнавала и все-все помнила. Про то, например, что Софию вологодскую поставил сам Иван Грозный, что он здесь долго жил и хотел даже остаться навсегда, сделать Вологду столицей градом. Про то, что у поручика теперь новая музыка под названием «фисгармонь». Про то, что в Вологде бывал и Петр Первый, жил в доме какой-то голландской купчихи, он цел. Она ходила, смотрела его...

А раз даже услыхала, будто в Петербурге студент Каракозов хотел убить нынешнего царя — Александра Второго, стрелял в него, но не попал и этого Каракозова повесили. А за что хотел убить, почему, не знала и гадала, что же это был за человек, если решился на такое.

А перед покровом, в холодные дожди и слякоть Тихон опять запил и пропадал уже и по три дня, и она бегала, однажды и нас kvозь мокрая, искала его по кабакам, но никогда не находила...

Она родила девочку, крестили Афанасией. Он тогда не пил, сам сладил зыбку, повесил в дальний от плиты угол, сказал, что пить теперь не будет вовсе. А ей уже было все равно, видно, стала привыкать, да и сердце с каждым днем все больше прирастало к красному сморщеному писклявому комочку, у которого на крошечном лице оказался точно такой же, как у нее, сильно вздернутый носик, точно такие же торчащие скулы, такие же круглые уши. Это было очень смешно и очень приятно.

После рождества Тихон опять исчез. Прошла неделя, вторая.

Марья схватилась, искала его знакомцев, спрашивала, может, кто встречал или хотя бы слышал что-нибудь про него. Нет, ни слуху, ни духу. И ей вдруг почудилось, что его уже нет в живых, убили или утонул — пошел пьяный по реке, все ходят, а ночью проруби не видать, их затягивает льдом, оступился, и все... Или где замерз, может, в поле вышел... Но тогда бы, наверное, кто-нибудь уже на него наступил, снега-то не больно великие. Да и если б драка, если б убийство — след или слух какой-никакой, а тоже был бы. Только если взаправду прорубь... И так сделалось его жалко, так невыносимо жалко, что из угла в угол металась и на полу сидела и плакала, впервые в жизни тихо плакала, вспоминая, как он мог отдать любому встречному все, что у него было, как любил слушать ее пение и какие всегда удивленные, какие восторженные глаза были у него при этом, и как он пугался, когда она звала его подпевать: «Что ты?! Что ты?! Разве я так могу?!» И сколько всего прожил-то — только на год и старше...

Решила ждать весны, когда вскроется Вологда...

Дочка уже держала головку, уже улыбалась и крепко цапала за палец.

Соседки, завидев ее, вздыхали, приносили в подвал кто кусок горячего пирога, кто яичко, кто что из старой одежки на пеленки-рубашонки, вызывались приглядеть за дитем, если ей куда надо сбегать, и опять вздыхали. Жалели ее. А чего ее-то? Она, слава богу, живая-дорова, ест, пьет. Его ведь нет-то!

И вдруг в какой-то из февральских вечеров влетает хозяйка, лицо как огонь, злая-презлая, не садится, мечется прямо в меховом салопе и чертыхается, и все на Тихона, на Тихона, и Марья не сразу, но все же разобрала: какие-то мужики вроде видели его дён пятнадцать — двадцать назад. За Вельском видели на постоялом дворе — от Вологды верст триста будет. Точно говорят — Шалый. Мужики, оказывается, его так и зовут — Шалый, потому что он еще с парней шалый, встречались не раз, когда пьет, всегда бегает и куролесит. Точно он: и конопушки, и рыжие глаза. Только уже без валенок, в опорках — пропил, значит. И шапки нет.

Марья так обрадовалась, так вся засветилась, что хозяйка даже испугалась:

— Что ты?!

— Так живой! Живой! Слава те, царица небесная!

— Дура! Он же тебя бросил.

— А-а! — Махнула рукой и тут же закрутилась по комнате, собирая дочкины и свои вещички и складывая их кучкой на кровать.

Хозяйка удивленно наблюдала.

— Чего это ты?

— Домой пойду.

— Куда?!

— Домой, на Пинегу. Чего мне тут-то?

— А там?

— Там дом...

Большего она не могла сказать, так как и сама не знала, почему вдруг так нестерпимо, так неодолимо захотелось ей домой. Точно вдруг свет какой-то вспыхнул внутри или перед глазами яркий-яркий, когда поняла, что Тихон-то живой! И она почувствовала, что свет этот — Пинега, дом, что ей надо сейчас же, сразу же туда. И было уже странно: зачем, для чего она вообще здесь?

И, сколько ни уговаривали ее соседки и хозяйка не делать такой глупости, как ни втолковывали, что в городе одной прожить много легче, тем более что она сама говорила, что у них в Шатогорке и земли-то всего ничего, всего на одну душу, да и неизвестно, вернется ли когда Тихон, может, совсем ее бросил, она в ответ на все это теперь только улыбалась, светилась, как прежде, будто ничего с ней

и не произошло, и уже через день еще до света низко поклонилась вышедшем проводить ее за калитку и покатилась по гулкой от мороза и еще пустынной Вологде к заставе, откуда начинается тракт на Вельск — Шенкурск. На груди под расстегнутой сверху суконной шубой крепко спеленатая Афанасия, на спине увесистый холщовый мешок — взяла все, что имела, а саму за этими двумя горбами почти и не видать, малые девчонки бывают больше.

Две недели шла без забот — сначала с одним обозом, потом с другим. Дочь несла, когда хотела, в санях под чужими туулупами и кормила, и пеленала.

А вот в этой деревне обоз свернул, она прождала три дня, но нового не было и никаких попутчиков не было. А дальше на восемьдесят верст ни одной деревни, и первый чаблус только через тридцать. Сердобольная бабка, которой она, видимо, приглянулась еще в прошлый раз, считала, что одной да с малым дитем пускаться в такой путь никак нельзя: засветло до чаблуса не добежать, а ночью леший страху такого нагонит, что можно и душу богу отдать, уже случалось. Да и если медведь-шатун встретится...

Но время шло, была уже вторая половина марта — ну, как ударит оттепель и все потечет... И она решила все же идти. Завтра чуть свет.

7

— Ой, девка, не ходи! Вишь, облака-то каки темны и бегут... И курицы ноги под крылья прячут — это к холоду, к метели... А в марте, сама знаешь, каки метели. Не ходи! Далеко ль до беды, дите у тебя, его пожалей!.. Ну, ну!.. Ну ладно. Береги тебя бог, горемышную!..

И верно сказала добрая, высохшая до костей бабка: скоро пошел несильный мягкий снег, затем поднялся ледяной ветер, снег стал колючим, полетел косо и напористо справа налево, нещадно жег правую сторону лица, хотя она надвинула платок до самых глаз и все время отворачивалась, прикрывала шубой и рукою Афанасию. Жег он и сосны, они тоже стали отворачивать, прикрывать от него ветки, закряхтели, загудели: «К чему-у-у?.. К чему-у-у?» Не понимали, чего это он вдруг сорвался и лютует с самого утра, которое уже и на утро-то не похоже — сплошная косо летящая жгучая белая мгла. В ней и видно-то было всего шагов на тридцать, и временами чудилось, что дальше вообще ничего нет, что это все, что осталось от божьего света. В какой-то момент ей даже показалось, что и никакой доброй бабки не было два-три часа тому, и никакой Вологды, а всегда были только эти дымчато-белые могучие гудящие стволы и жгучий снег, жгучий снег, снег, снег...

Идти становилось все труднее, колею с твердым настом засыпало, а на открытых местах уже ползли сувей, уже намело высокие гребешки, которые доходили почти до колена.

И все-таки на душе было хорошо. Отчего хорошо, бог его знает. Может быть, оттого, что голос этого леса показался ей очень знакомым, или оттого, что и дорога и лес то и дело спускались в глубокие пади и она все время шла с горы на гору, с горы на гору, совсем как у себя дома. Значит, уже недалеко...

На улице, улице.
Во дворе метелица,
Не метелица вьет.
Не метелица метет,
Не метелица метет,
Мой-от миленький идет.
На нем синяя сибирка,
Окол шейки платок,
Окол шейки платок
Семишлковый...

Запелось само собой, и какое-то время Марья даже и не замечала, что поет и что уже не отворачивается от жгучего снега, не чувствует его рыхлости и высоких гребешков под ногами, легко их перепрыгивает и хочет лишь одного, безумно хочет и старается, чтобы и ее голос вплелся в раскатисто гудящие голоса ветра и леса, чтобы зазвучал с ними одно под одно. И, когда это получилось, к ней пришло какое-то неведомое, распирающее огромное ощущение, что и эта метель, и этот могучий лес на могучих холмах, и она, Марья, и вправду одно нерасторжимое целое, что без них, сама по себе она не больше любой из летящих мимо снежинок, а с ними со всеми вместе — и с лесом, и с ветром, и с этими снежинками — она и есть весь белый свет.

Силу вдруг почувствовала в себе необыкновенную. И легкость необыкновенную.

Тонка жердочка не гнется,
Не ломится, ой.
Тонка жердочка не гнется,
Не ломится
Хорошо с милым живется.
Не стоскнется, ой.
Хорошо с милым живется,
Не стоскнется...

Обратила внимание, что поет только веселое, и подумала, что ничего другого под такую метель и такое гудение сосен петь нельзя — они тоже веселые, потому что чуют весну, потому что намедни и третьего дня было уже очень солнечно и даже сейчас, несмотря на такой снег и ветер, она слышит в воздухе легкую горчинку уже подтаивавшей сосновой коры. Метель просто озорует, прощается с землей, с лесами.

Хошь и стоскнется на час —
Разгуляешься сейчас...

Афанасия таращила из-под кончика одеяла отцовские рыжие глазенки и внимательно слушала, лежала смирно и, на радость Марьи, ни разу еще с самой деревни не обдулась. Молодец!

Марья с ней, смеясь, маленько поговорила, а потом подумала, что, может, по этой же дороге и Вавила со скоморохами проходил. Дедушко ведь сказывал, что он здешний, наверное, проходил, они же везде ходили. И, может, тогда тоже была метель, а он тоже пел, и именно эти дымчато-белые сосны слушали его, как слушают теперь ее.

А ко той вдовы да ко Нинилы,
Пришли люди к ней веселые,
Веселые люди, не простые,
Не простые люди, скоморохи.
«Уж ты здравствуешь, чесна вдова Нинила!
У тя где чадо да нынь Вавило?»
А уехал Вавилушко на ниву.
Он ведь нивушку свою орати,
Ишша белую пшеницию засевати,
Родну матушку хоче кормити.
Говорят как те ведь скоморохи:
«Мы пойдем к Вавилушку на ниву;
Он не идет ли с нами скоморошить?..»

Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал ей, что людей, о которых поется в старинах, не было, что они выдуманные, она бы не просто не поверила, она бы решила, что говорящий такое или без ума или, еще хуже, злой, страшный оборотень, которому зачем-то надо обмануть людей, отвернуть их от старин, отвернуть от своего же прошлого, чтобы они его позабыли и жили как слепые и глухие, не ведая ничего ни позади, ни впереди. А ведь все было, было, она часто

об этом думала, нет, не думала, а точно знала и о всех, о ком пела, могла бы рассказать даже много больше, чем в стариных, так как они хоть и давно умерли, но все равно всегда были рядом с ней или где-то поблизости, как и дедушко, и отец, и другие умершие близкие. Она часто их видела, даже когда и не пела, многих очень любила, разговаривала с ними. А Вавилу особенно любила, считала его совсем своим, как-то даже думала, что дедушко молодой, наверное, сильно на него смахивал, недаром он тоже егошибко любил и только один на всей Пинеге про него и пел. Да теперь вот она. Вавило ведь тоже был из крестьян, а стал скоморохом и пошел с другими скоморохами в «инищшое царьство переигрывать царя Собаку, ища сына его да Перегуду, ища зятя его да Пересвета, ища дочь его да Перекрасу». «Переигрывать» — то есть драться по-скоморошьи, скоморошьим оружием — гудками да песнями, потому что царь тот Собака — кровопийца и у него «окол двора да тын железный, а на каждой тут да на тычинки по человечьей-то сидят головки». Правда, поначалу Вавилушка не умел, «не горазен был играть во гудочек, во звончатой во переладец», но его новые друзья сказали, чтобы не робел, что святые «Кузьма с Демьянном приспособят», и «было у него в руках-то понюгальце, а и стало тут ведь погудальце; ища были в руках у его да вожжи — ища стали шелковые струнки». И понял Вавила, что

...люди тут да не простые,
Не простые люди-те, святые.

И мать его это увидела, когда

...понесла она хлебы-те ржаные;
А и стали хлебы-те пшеничные;
Понесла она куру-то варену —
Ища кура тут да ведь взлетела,
На печной столб села да запела...

Только вот куда они подевались, все скоморохи-то? Такое большое облегчение народу делали, а, поди ж ты, нет их теперь на Русской земле. Совсем нет. И сказывали, будто извел их царь Алексей Михайлович. А Иван Грозный их любил, сам вроде бы рядился в скоморошьи личины. Вот и пойми!.. И как это можно было их известить, коль они святые и всемогущие? Выходит, не всемогущие, а мученики. За что?

Вспомнилось, как усть-ежугская бабка Августа показала ей однажды икону с Вавилой, играющим на гусельках, но строго-настрого велела никому не говорить, что у нее есть такая икона. «Ты, — сказала, — погляди! Тебе можно, а другим ни-ни!» И спрятала.

А ведь коль икона, значит, верно, святой. Почему же прячут?

Говорил да тут да ведь крестьянин:
«Я ведь тяжко тут да согрешил:
Это люди шли да не простые.
Не простые люди-те, святые...»

Так она пела, так она думала и шла, шла через бесконечный лес и бесконечную метель, прижимая к груди свою Афанасию.

8

Деревни на Пинеге большие, есть очень большие. Собственно, чаще всего это даже не одна целая деревня, а несколько маленьких или средних, которые стоят очень близко друг к другу. Называют их околами, и у каждого есть свое имя, но есть и общее имя всей деревни.

В Шатогорке было четыре окола: Чага, Волость, Заручей и Холм, который делился еще на Старый и Новый. Но по-над самой Пинегой по краю высокого обрывистого берега разместилась только Волость да обочь ее древняя деревянная часовенка Егория Светлохраброго, остальные же околы стояли поодаль от реки, за широким и очень ровным полем. И со всех других сторон тут были поля, даже между Чагой и Заручьем. То есть, по здешним меркам, пахотной земли в Шатогорке было довольно много, и поэтому жили здесь получше, чем в некоторых других деревнях.

Жизнь на севере вообще во многом не похожа на жизнь остального русского крестьянства, особенно средних и южных губерний:

Во-первых, северный крестьянин не знал крепостничества, не знал помещиков, подати платил непосредственно государству и поэтому именовался государственным или черносошным — черными назывались земли, бывшие в ведении казны, а подати взимались подушно, с каждой сохи, отсюда и черносошные. Это была хотя относительная, но все-таки воля, человек не чувствовал себя рабом и мог в какой-то мере сам распоряжаться своей судьбой. Не испытывал он на себе из-за полного отсутствия помещиков и никаких побочных господских влияний. Почти не испытывал и влияний городских, так как городов в этих необозримых таежных просторах крайне мало и подавляющее большинство мужиков и баб никогда в них не бывало. Поэтому в хозяйственном и бытовом укладе крестьяне держались здесь того же, чего держались их деды, прадеды и пропрадеды, то есть только выверенного века. Так же незыблемо сохраняли традиционные нравственные принципы и воззрения, лучшие типы строений, одежды, сохраняли лучшие трудовые приемы, обычаи, поверья, песни, старину. Сохраняли и ведать не ведали, что в иных краях многое из этого уже давным-давно позабыто, заменено тем, что модно теперь в городах и среди господ.

А второе отличие северного крестьянина от всех прочих крестьян заключалось в том, что здесь было чрезвычайно мало пахотной земли, в основном, только отвоеванная у лесов вдоль больших рек. В пяти, в десяти верстах от рек никаких пашен и никаких селений уже не было — там тайга, болота, с ними уже не совладаешь. Да и наделяли этой скучной землей только мужиков подушно. А женская душа за настоящую не считалась, бабам земли не полагалось вовсе. Как знаешь, так и живи! Без каких-либо приработков, без промыслов обойтись было невозможно. Многие по договоренности с архангельскими лесопромышленниками валили и сплавляли лес. Строевой, корабельную сосну, музыкальную. Разбирались в этих делах великолепно. Сплав шел молевой: по весне по большой воде вся Пинега от края до края была в сосновом золоте, бревна постукивали, шуршили, а то и жутко трещали в огромных затирах день и ночь. А кто вязал ивовыми прутьями или долбил из целых осиновых стволов узкие длинные лодки, потом наливал в них воды и ставил распариваться над кострами, и они становились очень широкими, очень удобными и легкими на ходу. А кто кожевничал. Кто гнал в болотистых березняках деготь. Все, конечно, рыбачили, били пушного зверя и птицу, которых в здешних местах было видимо-невидимо, особенно белки, рябчиков и глухарей. И еще бондарили. валяли валенки, красили сукна и холсты, держали мельницы, портняжили, плотничали, смолокурили, точили и резали деревянную посуду, прялки, были даже некоторые пекли на продажу бублики. И естественно, что и эти бублики и все другое рукодельное отличалось самым высочайшим качеством, красотой, потому что кому, спрашивается, нужно покупать плохо выделанную беличью шкурку или неважный деготь, или некрасивую прялку. Да на лучшее ведь и цена повыше.

И избы большинство мужиков ставили себе сами. Не в одиночку, ибо в одиночку такое дело не осилишь. Или с близкой родней,

или с соседями вязали сруб, поднимали кровли. Но доделывал избу каждый все-таки сам — двери, окна, крыша, резной наряд. А семьи были большие, и избы таким семьям требовались тоже, конечно, большие, даже очень большие. Да и от лютых морозов и великих снегов надо было надежно защитить и себя, и скотину, и всю хозяйственную утварь. Вот и поднимались на Пинеге и на всех других северных реках не просто дома, а дома-исполины с поветями, в которых все было спрятано под одну крышу. Иные аж в два этажа, да еще с вышкой, то есть со светелкой, да с небольшими прирубами сбоку — это были зимники, куда семьи перебирались совсем уж в дикие холода, чтобы не жечь слишком много дров, обогревая всю машину, в которой насчитывалось обычно не менее трех, четырех, а то и семи-восьми только жилых больших горниц, светелок, клетей...

А к осени пинежане целыми семьями на телегах отправлялись в леса ломать, как здесь говорят, грибы, и к вечеру телеги были всегда полным-полнеоньки, особенно когда ездили по рыжики. Столько же брали клюквы, брусники. Очень много было и малины. А вот огурцов, без которых русского крестьянина вроде бы и представить невозможно, здесь не знали — не вызревали они. Да и хлеб не всегда вызревал, случались годы, когда ячмень, а тем более рожь еще зелеными покрывал снег. Такие годы называли зелеными, и их очень боялись.

Одним словом, северные крестьяне в подавляющем большинстве одновременно и землепашцы, и отличные мастеровые, знавшие порой даже по нескольку ремесел. Отдыха, кроме праздников, не знали, считай, ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. Но зато многие и жили справно. Те, которые, конечно, не лентяи, не больные и не пьяницы. И если, конечно, не случался зеленый год или — не приведи господи! — да два подряд!

В Шатогорке справных было даже побольше, чем во многих других деревнях. Зажиточная была деревня. Но Марья, которую теперь уже чаще звали Махонькой, все-таки никогда в ней не побывала.

Побираться она стала в следующую после Вологды зиму.

Бог тогда миловал: пять дней шла одна и раз даже полночи при страшном морозе и пугающих звездах, два дня не ела, трижды ночевала в чабусах, но все же дошла и Афанасию донесла в целости. А Тихон-то тогда оказался уже в Шатогорке, да такой страшный, что смотреть больно — ничего не помнит, не понимает, самого себя не помнит. А в избушке их и вторых рам нет — продал и пропил. Холода жуткий, и ни полена дров. Да и были бы, разве при одних рамках такую хибару натопишь. Хоть и два этажа, а в каждом всего по маленькой комнатке с квадратным оконцем да легкие сенцы, и настоящей кровли нет — лабаз. Площе и меньше хибары не то что в их околе — во всей деревне не было. Одно хорошо: не больно многим глаза мозолила, стояла у самой околицы Нового Холма. Дальше еще один дом, и край всей Шатогорки. А перед окнами большое ровное поле, за ним Пинега, правее гумна, узкий березнячок и еще несколько кулижных пахотных наделов. Был там и надел Тихона.

Тогда она попросилась ночевать с дочкой как раз к крайним соседям — к Гавриле Холмовскому. Дом у них был преотменный..

И закрутилось колесо: по весне и летом Тихон еще дома, правда, не всегда трезвый. Но, когда трезвый, займет лошадь и надел все-таки вспашет, засеет. Сажать ничего не сажали, даже картошку, так как огорода не было. Иногда сидит и месяц, и два с раннего утра у нижнего окошка с сапожной лапой. Рядом дратва, вар, ворту деревянные гвоздочки. Бывало, даже и причешется, и, постукивая молотком, все на волю выглядывает. И она тоже выглядывала, знала, кого он ждет, и уж готовилась. И как там покажется кто из

соседских мальцов — Петюнька Холмовский или Митька Холмовский, или Дащутка, вокруг чуть ли не все были с этой фамилией,— они прямо в два голоса и кричат: «Эй, Петюнька! Иди к нам чай пить!» Всех соберут, а ребятне, известное дело, в чужом доме все слаше сахара; рассядутся, пьют смородинный чай с малиной или еще с чем, отдуваются. И он с ними сидит, пьет да посмеивается, да напевать чего начнет, чтоб ее подзадорить, чтоб она попела. Ребяташки это понимают, на нее зыркают и тоже улыбаются — ждут. А она, конечно, с великой радостью. И кашей гостей потчевали. Она знатную пшеничную кашу варила, никто в Холме не умел такую варить, и вообще любила и умела стряпать. Но тогда в окошко кричали: «Идите с Афанасией кашу есть!» Тихон сидит, смотрит, как они едят, улыбается, а потом вроде бы из пустого своего рта, им на удивление, достает деревянные гвоздочки: пять, десять, пятнадцать...

А потом опять исчезнет. После воздвиженья и до пасхи вообще никогда дома не был; другие сказывали, что обретался, в основном, на Мезени, в Лешуконы, шил бахилы, только денег домой не присыпал и почти не приносил, когда заявлялся сам. А только Афанасии минуло семь, угодил в тюрьму — люди болтали, что-то своровал, но в точности никто ничего не знал, а он сам про это потом ни слова, ни пол слова, будто ничего и не было, будто он эти шесть лет провел в своем доме.

Летом-то и осенью хорошо: крапива, щавель, рыба, ягоды, грибы, собирала маленько и жита, молола сама на небольших жерновках — единственном богатстве в их доме. До покрова хватало, а вот после покрова без хлеба было никак невозможно. Все вокруг уже белым-белом. По утрам в углах начинает появляться иней, сколько ни топи. Афанасия уже большая, уже все понимает, просыпаясь, смотрит на мать вопросительно и грустно-грустно, а глаза у нее такие похожие на отцовские.

— Собирайся! — говорит наконец Махонька и ведет ее к крайним Холмовским.— Приютите, за-ради Христа, мою красавицу!..

А там тут же начинают плакаться, что никак не успевают разобрать пряжу, или еще какое дело вспомнят, которое у них никак не сделается, все не хватает рук, и Махонька уже знает: это они ее держат, чтоб не уходила. И начнет пособлять что надо, у них и живет, и вечерами непременно поет или сказки сказывает, она их тоже здорово сказывала. День так живет, два, три, а потом все равно засобирается, и хозяйка, да и хозяин скажут уже напрямую:

— Чего переться-то? Чего ты в Шатогорке-то совестишься собирать? И так ведь все знают, что собираешь!

Ну как она могла им объяснить, что ничуть не совестится и уходит из Шатогорки не только ради милостыни, а если напрямик, то и вовсе не ради милостыни — ее действительно с лихвой хватило бы и здесь, не одна же она побирается, есть и другие шатогорские, они никуда не ходят. Да и втайне работы сколько хочешь, ее не раз приглашали, знают, какая она в любом деле споровистая... Нет, дело в другом: здесь, на Холме, в Заручье и в Чаге, и в Волости, она уже давно, все лето, и многие слушают ее почитай каждый день. А там, в иных деревнях-то, кто-то, может, уже и позабыл ее пение или соскучился, или, может, вообще никогда ее не слыхал, и она сможет петь там без конца, много-много, пока не устанет вся. А это было для нее высшей радостью, невыразимым счастьем — петь без конца, до полной усталости, до жгуче-сладостного ощущения, будто ее самой уже нет, а есть только ее голос, что он во всей ней — и в руках, и в ногах, и в кончиках пальцев, и в затылке, — везде. Рождались звуки не в груди, нет, где-то глубже, не понятно даже, где, и всплывали, струились, клубились, срывались и неслись внутри нее точно так же, как снаружи, и в этих звуках-словах, порой всего в нескольких, заключались целые картины и це-

лье жизни, и она всем своим существом проживала каждую из них, подчас проживала подряд десятки, сотни разных жизней, и это-то и было высшим наслаждением, пределом радости — без конца чувствовать себя кем-то другим и за каждого переживать, и быть в других временах. Иногда она даже и слов-то не замечала, они текли сами собой, все было в звуках, в музыке собственного голоса: выше, выше — и сразу до шепота, потом ручейком, потом перекатами, потом гулом, как в бору перед бурей...

Чем больше было людей, тем охотнее начинала, но потом никогда не могла вспомнить, как ее слушали, не замечала этого.

Зайдет так просто проводить. Знать-то ее уже все знали верст на пятьдесят, на сто и принимали очень охотно. Да и кому, скажите, не приятно видеть такую редкую певунью, да еще всегда сияющую, как солнышко, всегда веселую, легкую, всегда опрятную, даже нарядную в своем обыкновенном сарафане-синяке из домотканой крашенины, на нем круглые оловянные пуговки были часто-часто понасажены от верха до самой земли. Носила этот сарафан постоянно, только платочки любила свежие.

9

Пинега медленно вздыхала: волна — вздох, волна — вздох... Жаловалась, что никак нынче не согреется: в таежных урочищах, несмотря на июнь, еще прячется снег, и тамошние речки все холодят ее, холодят...

— Теперь согреешься,— успокоила Махонька.— Вишь, какое ведро-то стало!..

Она, по своему обыкновению, шла быстро-быстро, почти бежала приречной тропой, а то и прямо по песочку — спешила в Городок, на ту сторону. И не хотела заходить в Веегору, не хотела тратить время зря, но боялась, что на берегу может никого не быть с лодкой и тогда все равно придется идти в Веегору, искать перевозчика или просить у кого-нибудь весла. А говорить ни с кем не хотелось, надо было скорей повидать Варвару, как можно скорей: вчера прослышила, что та, оказывается, все еще не отошла, а Махонька и не знала, думала, уже все...

Баб на взлобке у реки увидела еще из далекого далека и обрадовалась, что они, наверное, тоже собрались на ту сторону. Но скоро разобрала, что нет, что они белят холсты. А когда стала узнавать каждую, удивилась: одна была совсем незнакомая, не веегорская...

Он как будто специально для беления холстов был создан возле Пинеги, этот покатый гладкий взлобок. Вся Веегора им пользовалась. Но сначала бабы, как и полагается, парили новины дома в чугунах и деревянных кадках с золой и прямо в этих же чугунах и кадках на шестах приносили сюда. Расстилали мокрые холсты на взлобке как раз против полуденного солнца — дорожку к дорожке. В первый-то день они ложились грязно-серые, мрачные, и запах вместе с паром шел от них тяжелый, душноватый, вроде как от перепревшей кострики. Некоторые расстилали холсты даже прямо в Пинеге, в мелких заводях, но большинство все же на угорье, где солнце в последние два дня припекало-жарило ой-ей-ей. А как только высохнут, снова по несколько раз на дно запихивали их в деревянные ступы, стоявшие на досках у воды, и с холодной водой же толкли в них деревянными пестами и опять расстилали, жарили. Работа не из больно тяжелых, но хлопотная, обязательно артельная — в одиночку холсты как следует и не растянешь и не перевернешь, они же длинные. Да и присмотр все время нужен, чтобы скотина какая не набрела и не натоптала или собаки, или птица. Но зато

как же они светели день от дня, какими становились дымчато-белыми, эти холщовые дорожки! Как красиво выглядели на угоре. Бабы в перерывах тогда усаживались где-нибудь вблизи повыше и, разговаривая, сверху с удовольствием на них поглядывали, вдыхали теперь уже свежий полотняный дух, который забивал даже сырье запахи реки, гредись на жарком солнце, млеши, иные и кофты порасстегнули. А тут из ложка по тропке как раз и Махонька катится. Обрадовались, разулыбились.

А она вдруг как споткнулась: увидела, что совсем ей вроде незнакомая баба — это Варвара, ее закадычная, ее самая стародавняя подруга Варвара Чащина, только страшно переменившаяся.

Она жила в деревне Городок — это прямо напротив Веегоры, но родом была отсюда, видно, гостила у своих, им помогала. Не могла, наверное, после всего случившегося в том дому быть. В Городок-то ее лет двадцать назад за швеца Ипата Чащина отдали. Ничего был мужик, справный, работящий, жили в ладу, двух сынов бог дал, а прошлой зимой Ипат вдруг с ума стронулся. То плачет без слов, а то прячется где-нибудь день и два, а потом недели две-три вроде ничего. Тихий-тихий стал. А по весне, в самую полую воду вдруг пошел в Пинегу. Пошел и пошел. Во всей одежде. На берегу люди были, видели: идет и идет, по грудь, по шейку — и нет его. Никто и сообразить ничего не успел, никто и слова не успел вымолвить. Ушел и ушел... Варвара какая была сдобная да белолицая, на локтях ямочки. А теперь глядеть больно — как порожний мешок, и глаза стоячие, все время стоят... А ведь какая была заводная! Как любила петь с ней голос под голос. Даже и старины пели — то одна, то другая. Вместе ходили в Усть-Ежу-гу, Варвара, правда, еще сено возила продавать, но главное не это, главное — там их больно хорошо слушали. А просто так, без сена она стеснялась петь, думала — грех. Последний раз там их еще белками одарили, по три штуки каждой...

Махонька поклонилась всем, а глядела на нее. И та тоже закивала, но без улыбки...

— Бог в помощь! Не возьмете ль в работнички?! Могу мять, полоскать, расстилать да подсушивать! Могу шить да кроить да все с песнями... Сказывайте, кому надобно!..

А сама-то вдоль холстов и к каждому наклоняется, то поглядит, то пощупает, губами почмокаает: эх, какие гладкие да плотные! И расспрашивает: какие-那样的 у кого красна, что так ладно получается? Хотя, какие у этих баб красна, то есть ткацкие станы, прекрасно знала, бывала почти у каждой и не раз, и не два сама сиживала за этими краснами, помогая хозяйствам, и холсты у нее получались точно такие же.

А через полчаса, когда пересохшие разогретые дорожки опять сворачивали, опять запихивали в деревянные ступы, заливали речной водой и усердно толкли деревянными пестами, а две бабы для пущей отбелки стали отбивать их еще и вальками на широких досках, Махонька работала уже наравне со всеми. Одна приодетая работала, хотя бабы и протестовали, говорили, не надо. И все поближе к Варваре Чащиной держалась, все тайком за ней приглядывала.

И вдруг напряглась, глаза засияли, и, когда бабы, уложив холсты, двинулись опять посидеть, она чуть приостала и запела, запела не в полную силу, но так вольготно и широко, как только и можно петь у широкой реки с неоглядным окоем и высоченным небом над головой.

Варвара Чащина вздрогнула, но не обернулась.

Было у нас во Царе-граде,
Наехало проклятое чудище.
Да сам ведь как он да семи аршин.
Голова у него да как пивной котел.
А ножища как быть лыжиша.

Да ручища как быть граблища,
Да глазища как быть чашища...

Она пела про Илью Муромича и чудище, страннее и противнее которого не было, наверное, никого на свете. Захватило оно сам Царь-град, заковало в железа немецкие царя Константина Атаульевича, а княгиню Опраксю взяло в полон. Но старый казак Илья не убрался его, порадел и за далекий Царь-град, и за этого царя с княгинею, выручил их. Выручил не только силой богатырской, но и умом своим, спокойствием, а главное, своим духовным превосходством над чудищем, превосходством чистого и доброго над грязным, алчным и злым. Но сначала-то, еще в дороге Илья встретил «калику перехожую, перехожую калику безымянную», который шел как раз из полоненного Царь-града. Илья предложил ему поменяться платьем, чтобы чудище не сразу его признало.

Говорит как тут калика перехожая:
«Я бы не взял платья богатырского,
Я бы не отдал платья калицкого,
А едину нас солнышко на неби,
А един у нас могут богатырь,
А старо-казак да Илья Мурович;
А с тобой с Ильей дак и слова нет».
Они платьем тут да поменялисе,
Ишкаша тут же ведь Илья Муромич,
Он ведь скинул платье богатырское
И одел собе платье калицкое
И оставил калике добра коня.
Он ведь сам пошел тут каликою:
Ишкаша клюцькой идет подпираитьсе,
Ишкаша клюцька под им изгибайтесь.
Говорит тут Илья Муромич:
«Не по мне эта клюцька и кована,
Ишкаша мало железа ей складено:
Ишкаша сорок пуд во единый фунт...»

И вот переодетый каликой Илья и чудище встретились, и чудище интересуется: не знает ли калика, каков из себя их, киевский богатырь Илья Муромич?

«А таков у нас могут богатырь
Ишкаша стар казак да Илья Муромич:
А в один день мы с ним родилисе.
А в одной мы школы грамоты училисе,
А и ростом он таков, как я».
Говорит проклятое чудищо:
«Ишкаша много ли он хлеба к выти съест?»
Говорит калика перехожая:
«От ковриги краюшечку отрушает,
А и той краюшкой трое сутки живет».
Говорит проклятое чудищо:
«По сторублевому быку да я ведь к выти ем!»
Говорит как калика перехожая,
Перехожая калика да безымянная:
«У нас у попа была коровушка обжориста.
Да много жорила, ей и разорвало!..»

Чудище злится и грозит, что будет вскорости в Киеве:

«Ишкаша буду я как баран тусен,
Как баран тусен, как сокол есен;
Стару казака да Илью Муромича
На долонь посажу, другой росхлопну —
У его только и мокро пойде...»

Если бы Махоньку тогда спросили, почему она запела именно эту старину, она бы, наверное, не стала объяснять. Сказала бы, что запела первое, что на ум пришло, и все. Но про себя-то знала, что, во-первых, Варвара ее очень любит, а потом эта старина одна из тех, что

дают людям силу и спокойствие и веру в то, что, какие бы чудища, какие бы несчастья на них ни обрушивались, добро и свет все равно возьмут верх. На то и были и есть на земле русской Илья Мурович и другие богатыри и подвижники, защитники всех страдающих...

Он съмае шляпочку воскрынчату,
Он и взгрел чудища по буйной главы.
Покатилась голова, как пивной котел...

Бабы, пропустив Махоньку вперед, поднимались на высокий берег прямо над холстами и не замечали, что все их движения уже подчинены мерному напряженному ритму этой старины, ритмам Махонькиного голоса, что они даже на траву-то рассаживались, боясь нарушить его, боясь не уследить, пропустить, как Илья расправлялся с пособниками чудища, «прибил всех до единого».

И снова у Ильи встреча с каликой, обратный обмен платьями. И последние слова она уже даже не пела, а просто спокойно сказала:

Ишша они тут распрошалисе;
А Илья поехал домой ведь тут,
А калика пошел куды надомно.

После старин всегда молчали, и Махонька знала, о чем все думают. Она тоже молчала да украдкой следила за Варварой; глаза у той, слава богу, немного ожили.

Громко плеснулась рыба. Где-то далеко, но вроде бы и близко, зычно и внятно перекликались мальчишки. Разогретая за последние два дня, река навевала тепло. Далеко-далеко народился еле слышный мелодичный звон. Несколько баб поднялись — в деревню возвращалось стадо, в тех краях все коровы с боталами, все звенят. Надо было идти встречать их, доить. Но бабы не торопились, наказывали товаркам присмотреть за их холстами, хотя вообще-то пора было их и убрать. Обещали управиться побыстрей и вернуться — им не хотелось уходить. А оставшиеся взглядами уже спрашивали Махоньку: «Ну чего же ты? Давай еще!» Она знала, теперь ее не отпустят долго. И те, что ушли, сообщат сейчас в деревне, что тут, на берегу, она, и сюда потянемся новый народ, день-то к концу, большинство уже не работают. И народ действительно потянулся, и скоро многие бабы, старухи и девки потихоньку плакали, переживая за раскрасавицу Домну Фалиеевну, про которую теперь пела Махонька. Эту Домну Фалиеевну уродливый ненавистный князь Михайла хотел «комманом» за себя замуж взять, а Домнушка, чтобы избежать такой страшной доли, на могиле родного батюшки наложила на себя руки.

Махонька под конец и сама была в слезах, но за Варварой все же следила. «Пусть поплачет и над чужим горем! Пусть не думает, что ее самое большое...»

Спела Махонька и веселую про разбойничью «Усишша». Собственно, это была не настоящая старина, такие песенные рассказы в веселых плясовых ритмах назывались на Пинеге скоморошинами, и Махонька пела ее, стоя и притоптывая, и потряхивая ручкой. И многие тоже стали притоптывать и подпевать ей:

Да спасибо те, хозяин: напоил нас, накормил,
Напоил нас, накормил да животом нас наделил...

А сами просто-напросто ограбили этого хозяина...

Все засинело: небо, река, бор на той стороне, земля, холсты. Но она не густела, эта синева, — близились белые ночи. Наоборот, она бледнела, как будто размывалась, стирая все очертания. Сверху шли плоты, на них горели костры, но казалось, что костры горят прямо на размыто-синей воде и растут, растут...

Кто-то тронул Махоньку сзади за плечо. Она обернулась — Варвара.

— Поночуй нынче со мной, а! Поужинаем...

Тогда пели почти все. Тогда жизни без песен вообще не существовало. Теперь-то все радио поет и разная другая техника и жизнь вроде бы тоже вся в песнях, но живой человек стал петь в сто раз меньше, а некоторые и вовсе уже никогда не поют, только поорут случайно в застолье и думают, что тоже пели. А настоящая песня — это совсем другое, без нее человеку и быть-то невозможно, без нее душа глухой делается. Прежде люди ой как хорошо это понимали. Поэтому всю жизнь за нее и держались. Народился человек — мать сейчас же ему колыбельную по десять раз на дню. Уже, значит, песней ему душу лепит. И так потом на каждом шагу: в играх, в церкви, на покосе, на жатве, на гуляньях, в лесу, когда женился человек, когда помер, когда поехал куда — как всегда удивительно пели на Руси в дорогах-то, как понимали необытность своей земли!. Под последний сноп были песни; целое представление под последний сноп устраивали, всей деревней выходили его зажинать... И сколько же знал каждый тогдашний человек песен, если только для свадеб их существовало более четырехсот. А были ведь еще научные песни, трудовые, плясовые, любовные, рекрутские, духовные, арестантские, потешные, солдатские, величальные, игровые, детские, были погребальные плачи и причеты, старины... Представляете, какие на этакой песенной ниве вырастали великолепные певуньи и певцы! Та же Оксинья Юдина из Усть-Ежуги. В Городке — Варвара Чащина, эта и старины умела славно, с надрывом в голосе. А в Карповой горе — Иван Ломтев, Иван Матвеевич, тоже природный песенник, гремевший по всей реке... Один приезжий только на средней Пинеге насчитал тогда более восьмидесяти стариных да про некоторых еще слышал, но сам их не повидал и потому в число восьмидесяти не включил. А в верховые реки он вообще не был, хотя, судя по всему, там их можно было встретить еще больше. Правда, знали, пели многие всего по две-три старины, но все равно, как ни прикидывай, а получается, что такие умельцы были почти в каждой деревне да по несколько сразу, а это значит, что пели их тоже часто, очень часто. Великим постом, например, вообще запрещалось петь что-либо другое, кроме старины и духовных стихов. Так что каждый крестьянин практически тоже в люльке начинал их слушать и слушал потом десятки и сотни раз и, конечно же, знал все содержание назубок, каждый знал, как знал, разумеется, толк и в самом исполнении: у кого это получается лучше, у кого хуже. Плохих-то ведь вообще никто не стал бы слушать.

И все же Махоньку на Пинеге выделяли поголовно все.

И она хорошо понимала, что выделяют ее не только за редкий голос и азарт, который здесь очень ценился, но и за то, что у нее ни в жизни, ни в пении, по ее же собственным словам, век тоска не бывала и что она даже вовсе печальное пела всегда так, чтобы человек хоть и плакал, но слезы бы эти согревали его, размягчали. Лучше же, конечно, совсем никогда не плакать: что в них хорошего, в слезах-то, только глаза застят, только мешают видеть, как много радости вокруг. Да в тех же старинах, и даже в очень серьезных, и то ведь как часто звучат плясовые наигрыши — она их остро чувствовала и всегда старалась передать,— а это значит, что когда-то их пели под гудок или еще подо что-то и все, наверное, плясали или приплясывали. То есть веселились и под серьезные старины, вот ведь как! Она часто об этом думала. И еще думала, что чем больше будет их петь, тем больше мужиков, баб и ребятни узнают о родной земле и родном народе, каков он был и есть, как именно жил в стародавние и недавние времена, что любил и ненавидел, о чем мечтал. Они ведь не только про прошлое, старины-то, они вообще про жизнь и про людей, про то, как надо и как не надо жить, каким надо и каким не надо быть. Известно, про то же самое и многие сказки, и многие песни, и духовные стихи, и притчи, и мало ли что еще, но все это маленько, а старины большие,

есть и просто огромные, и все самое важное о жизни, все главные народные мысли, понятия и заповеди новым поколениям именно в них. Да и сама душа народная в них. И в песнях, конечно, и в сказках, но там опять же по малым крупицам, а вся целиком тоже только здесь. И, кто знает, кто хранит старины, тот, выходит, хранит и душу народную, и все, что он заповедовал знать и помнить из века в век...

Махонька поняла все это не сразу, ой как не сразу. Много, много лет думала то про одно, то про другое и все на людей смотрела: как они относятся к стариинам да к песням, слушала, что про них говорят. И только когда Афанасия уже выросла, когда уж вышла замуж за Кирилла Соболева из Кусогоры и перебралась туда, и хлопот у нее, у Махоньки, заметно поубавилось, только тогда и стало ей все совсем ясно. И даже то стало ясно, что господь судил лично ей, наградив таким голосом, такой памятью и такой полыхающей душой. Может, больше никому на Пинеге не судил такого, и потому делать свое дело она должна свято и хранить старины свято, никогда ни одного словечка в них не нарушить. А нищенство — это господь тоже нарочно придумал, чтобы ей способней было ходить и петь везде, она это тоже поняла. А уж как Афанасия-то отделилась, одной ей много ли было надо: на два-три дня насирает, и все, дальше идет только со стариинами и песнями. Никогда не задорилась.

11

А многие, особенно молодые, и к столу не приближались, станут у двери, Махонька поднесет им стакан пива, девчата пили, отвернувшись к стене, стыдились, потом присядут у этой же стены на корточки и слушают разговоры за столом. А в сороковины, известное дело, какие разговоры: все больше об усопшем, о том, каким он был, о его страшной кончине. И, как всегда на сороковинах, когда худое уже заслоняется окончательным сознанием, что человека нет в живых, все сходились на том, что сам по себе, по душе Тихон Иваныч был музык хороший, даже очень хороший, добрый — такой ведь добрый! — ребятишки разве же стали бы любить недоброго, вон и счас торчат у окошек... Как он их всех собирал-то!.. Все проклятущее вино... Только ныне и сей грех с его души снят, искуплен. Искуплен его мученической кончиной. Это ж надо, какие антихристы, какие ироды: убили человека на мезенском тракте за Тайболовой, когда он домой шел, деньги нес. Небось думали, что денег много, к дереву привязали, рот мхом набили, а денег-то, сказывали, было всего десять рублей.

— За что надругались?! За что душу погубили?! За что семейство на белый свет, на белый снег выкинули?!

Махонька плакала. Она думала точно так же и уже не помнила ничего плохого, не помнила, по чьей вине побирается уже почти тридцать лет, помнила одно только хорошее, помнила, как он сам всегда пьяный маялся.

«Маялся, маялся и отмаялся...»

Увидала у двери Аграфену Маслову из Труфановой горы, поняла, зачем она здесь, зачем отмахала двадцать верст. Та поманила ее в сени.

- Знать, уж не придешь?
- Как не приду! Обещалась — приду.
- Так тако горе!
- Что делать! Надо прийти..

12

Ее позвали справить свадебку. Нет, нет, не свахой, свахой ее никогда не звали, на то были свои соловьи разливанные — любой лежащий товар могли сбыть, ровно золото. Да и называлось это — сладить

свадебку, а ее приглашали спровоцировать: проследить, помочь, чтобы все шло как надо, чтобы, не дай бог, не допустить где-нибудь ошибки; ведь как на свадьбе все заладится, так, значит, во всю жизнь и будет. В это на Пинеге верили свято. Справщиками очень дорожили, особенно когда в доме невеста шла перваком да сильно молодая и не больно певкая. Ведь сколько ей обрядов-то надо было пройти, сколько причетов и песен перепеть — на каждый шаг свои. И не только у нее, у подружек тоже, у них песен еще больше. Перед просватаньем, на посидках, при зарученье, на девичнике при прощании с косой и волей, утром в день свадьбы, на проводах к венцу, при встрече от венца, при входе молодых в дом, на пиру — там все свои величанья, после пира, молодоженам, корильные... Редко-редко какая девка даже половину-то знала из того, что нужно. А Махонька — все.

Ее еще загодя приглашали, еще летом, дело было решенное, полюбовное, просили, чтоб как осень, как с полями управляется, чтоб так и пришла. Семья была знакомая, а девку знала мало. Катя, да и все. Средненькая девка и росту среднего; круглица, нос вздернутый. И уж больно тиха, говорит тихо-тихо. Махонька в первый день даже испугалась, подумала, что такая сама ничего не сможет, придется ей все время быть передовицей-подголосницей — все зачинять, а она только бы подпевала. И подружек, ладно помогающих, надо отобрать. Удивлялась, и какой видный парень-то ее выбрал. Но голос у Кати оказался неплохой — чистый, звучный. В хоре пела хорошо, а одна, когда пробовала причеты, робела. Махонька очень за нее боялась. А тут еще все стали торопиться, прошел слух, что на войну с японцем снова будут забривать в солдаты, летом уже сколько позабирали, и вот страшали, что зимой опять. Был девятьсот четвертый год. Очень могли туда и жениха. Он сам больше всех и торопил. Назначили просватанье. Стали резать скотину. Наказали привезти из Архангельска палтусинки да конфет, да орехов, а семужка соленая и икорка были припасены свои. В Пиренему наказали Марфе Соболевой испечь пряников и баранок — она их очень знатно пекла, никакая свадьба без них не обходилась. Катя, мать, сестры и подружки с утра до ночи кто с иглой, кто у корыта, кто у печи, кто с соленьями да вареньями, а кто и во дворе калит большие камни и раскаленными бухает их в бочки — варит густое, темное и хмельное пинежское пиво. И, хотя двадцативедерные бочки накрыты тяжелыми дубовыми крышками, из-под них валит сероватый пар, и сильный горьковато-сдобный запах шипящего варева растекается по открытому двору и дальше по деревне, и все, кто оказывается поблизости, с удовольствием приносятся, оживляются, улыбаются, и скоро уже кажется, что вся деревня наполняется такой же суетой, как дом невесты, таким же радостным предощущением большого-большого праздника. Даже вроде бы и сама земля его ждет, притихшая, светлая, вся в сухом тепле. Октябрь для Пинеги просто редкостный. Обычно ведь на покров, первого октября, тут уже загоняют скот с выгонов в хлевы, а четырнадцатого октября бывает параксева-грязная — такие великие кругом грязи от бесконечных дождей. А нынче будто новое бабье лето.

Махонька все время рядом с Катей и ближайшими ее подругами. Тоже всякую работу делает и одновременно наставляет:

— Значит, при просватанье, мои ясные, заводим «С устья березового». Тут на посидках — «Весла в поле» или «По сенечкам батюшковым». При проводах жениха с зарученьем — «Уж вы соколы, соколы...»

И вот уже зазвенели, захлебнулись радостью колокольцы, шармы и бубенцы, во множестве подвязанные к дугам тарантасов и телег, оплетенные яркими лентами. Будто вся деревня зазвенела и звон этот покатился в поля и делался все глушше, глушше, пока вовсе не исчез, но здесь все ждали, напрягали слух и час, и три и наконец опять

услышали — катится обратно, катится волной веселый заливистый звон, срывает людей с мест, притягивает их к дому невесты.

Многодневное действие русской свадьбы началось, а Махонька все боялась за Катю. Две недели ее готовила, а боялась; та уже робела меньше, но как все при большом народе-то получится?..

И вспоминала, как у нее самой все хорошо когда-то получалось. Как давно уж это было-то. Вспоминала Тихона, перебирала все радостное, что видела от него. Тоже ведь было...

Прошли малые смотрины, когда родители невесты встречали жениха, его отца, свата и других честных гостей у своего крыльца, с почетом заводили их в дом, где под образами уже горели свечи, усаживали по старшинству за стол... Отец невесты со сватом били тут по рукам через подол праздничной суконной сибирки свата, а мать жениха их разнимала...

Теперь Катя считалась окончательно просватанной, и ее голову и плечи накрыли большим синим платком-фатой, и она уже не имела права ходить в церковь, в гости, должна была, переступая любой порог, креститься, а если случится поехать на могилы родных или к близким родственникам — а это делали все,— то обязана была закрываться тем платком с лицом и, ничего и никого не видя, все же непременно и непрестанно кланяться из телеги или тарантаса направо и налево. Всю дорогу кланяться...

Пошли трехдневные посидки — главная невестина тягота, когда ее с утра до ночи окружали родственницы и ближайшие подружки, свадебные праворучница и леворучница и еще шли и шли просто подруги, просто знакомые и просто зрители, чтобы посмотреть, как она плачет и расшибается, как не хочет расставаться с молодостью, с родными батюшкой и матушкой, с дорогими подружками, с волей вольною в отчим доме, с отчим деревней, полями, лесами. И, хотя многие девки шли замуж охотою, а часто и по любви и на Пинеге вообще не было принятошибко неволить девок, все равно так уж от века завелось, что невеста должна была петь-плакать, обливаясь горючими слезами, и заходиться, падать на пол или на лавки, зашибаться или хотя бы метаться по избе и стучать рука об руку, чтобы окружающие видели и, главное, поверили, что она и правда в великом горе и надрыве и идет в чужой дом не своею волей, и знает, какая тяжкая участь ждет ее отныне. Наверное, когда-то, совсем-совсем давно, когда люди верили в обереги, они считали, что, если чего-то очень сильно и принародно страшиться, плакать и не想要, оно на самом деле окажется много-много лучше. А кроме того, за этими плачами жизнь становилась для девушки не просто иной — худшей или лучшей,— она обретала новый смысл, и плачи готовили ее к этому, заставляли понять это. Не всех, конечно, заставляли. Которые натирали глаза луком, чтобы реветь без остановки, и, как полки, только бездумно подвывали передовщицам-подголосницам, те, конечно, так ничего и не понимали, им бы лишь отмучаться. Дело было действительно трудное: переплакать надо было со всеми по отдельности, причем каждой родственнице и каждой подружке предназначался свой особый плач. Без подголосницы ни одна девка с этим неправлялась. Но есть же разница: все за невесту петь или только зачинять, подсказывать. Когда Кате дары от жениха принесли, Махонька, например, изготавливалась на весь плач:

Не подходите, не приносите и не дарите
Дорогими меня гостицами.

А Катя вдруг сама как застонет во весь голос:

Вы скажите, лебеди белые,
Князю да первоначальному
Заочное да члобитье,
Чтоб он жил да не надеялся.
Искал бы новую да молодую,
Меня получше и покраше..

Махонька возрадовалась: «Пошло!» И дальше только укажет Кате глазами, к кому следующему подходить, перед кем расшибаться, только начнет плач, а та уже покачивается, вторит, и на глазах у нее настоящие слезы. От самих этих плачей, от самих голосовых надрывов слезы катятся. Побледнела, все больше волнуется, после полудня от усталости уже и еле двигается...

Настало время «жемчуга» — оплакивания, расставания с девьей красотой. Катю обрядили в лучший парчовый сарафан, в нежно-голубую шелковую кофту, в дивную повязку, а на нее нацепили множество ниток разного жемчуга. Сколько ссыкали, столько и нацепили. Голова девушки словно в жемчужном дожде оказалась. Праворучница и леворучница вывели ее под локотки на середину горницы, как раз напротив матери поставили, и все при этом поднялись. Махонька была сзади Кати. Но даже и рта не успела раскрыть, та повела сама, да сразу с такой надсадой, что все замерли:

Ты желанна моя, болезна
В день денная печальница,
В ночь ночная богомольщица!

И запокачивалась, как под ветром, а в глазах опять слезы.
Все стали ей подпевать:

Посмотри-ко ты, погляди
На меня многокручинную:
Меня красит ли, хорошият ли
Меня природная девья красота
И дорого мое цветно платище?
Хоть не скажешь, моя желанная,
Сама знаю, ведаю:
Не красит и не хорошият
Дорога моя девья красота.
Потемнела да покернела
Черне черного потолка,
Черне ворона поднебесного...

А на следующее утро спозаранку топили баню, и Катя ходила туда париться с праворучницей, леворучницей и Махонькой. Дверь заширали изнутри, чтоб, не дай бог, кто чего не напортил. И, когда топили баню, тоже все время присматривали, охраняли ее — мало ли ворогов да охальников. Махонька любила парок, могла каждый день греть косточки, хлестаться кислопахучими вениками, но тут надо было торопиться, ведь предсвадебье, день больших смотрин и большого рукобитья. Главное — невесту хорошо попарить да помыть, чтоб была как новорожденная. И веничик, которым она парилась, надо припрятать; которая девка следом этим веником попользуется, тоже вскорости замуж пойдет...

Потом Катю одевали уже в самое-самое лучшее, и она сидела и ждала с подругами в своей светелке, когда снова приедет жених со свитой и родными.

Но только теперь, когда заслышили звон колокольчиков, в невестином доме позакрывали все ставни и ворота и все попрятались — женихов поезд будто перед пустым домом остановился. Правда, девки набились на повети и через оконца и щели в воротцах поглядывали оттуда вниз, но снаружи не было никого. Глухо и глухо. Дружки жениха с розовыми повязками на рукавах постучали в дверь кулаками. Не дождавшись ответа, постучали покрепче сапогами — все одно молчок. И, лишь когда приезжие достали специально привезенную оглоблю и забарабанили ею в стену, дверь отворилась и гостей впустили, и прямо в сенях их встретили невестины родители с зажженными свечами в руках.

Опять рассаживались по чинам. Опять всех обносили угощением, но только делал это уже отец невесты. И опять вывели Катю, но толь-

ко уже под платком-фатою, а отец, мать и сватья встали обочь ее. Присутствующие поднялись.

— На той ли сватался? — спросил Катин отец.

— На той, — ответил жених.

— Люба ли?

— Люба.

И Катя опять обносила всех вином и пивом, просила отведать угождения на столе, где были, в основном, разные пироги, положенные по свадебному обычаю один на другой крест-накрест, и еще треска, палтусина, каши, жареная птица. Выпивая, большинство клали на поднос или в рюмки деньги, а она подносила им платки, пояса, варежки. Жениху самый красивый платок. Он им утерся, свернул и спрятал в карман, а в рюмку опустил целый червонец. И уже не отходил от Кати, стоял сзади, ждал, когда ее отец поднимется из-за стола и спросит:

— Всем ли было, все ли довольны?

Все тоже поднялись и с поклоном хором ответили:

— Все довольны, всем было.

А женщины и девушки запели жалобную «Дымно в поле, дымно» — про то, как голубок тосковал и звал свою любимую...

Катю повели к себе. Жених вместе с другими шел следом и все норовил наступить ей на ногу. Дружка же приплясывал и приговаривал:

— Скок через порог, едва ноги приволок, идет дружка-лаконожка, за скобу руками, за молитву зубами... Раздайтесь да расступитесь на все четыре стороны да пустите нашего князя первобрачного дать на бела белила, на красны румяна. А ты, красна девица, красная княгиня, первобрачна молодица, не куражься, гордость-спесь оставляй здесь, а низкий поклон клади да к нам вези: у нас горка кругенька, водица близенько, коромыслицо тоненько, ведерышко маленько; под гору ходи — не запинайся, на гору ходи — не задыхайся...

В светелке жених впервые принародно, при подружках целовал Катю, прощался с ней до завтра и дарил еще деньги — на белила.

А потом она здесь же потчевала своих подружек, а остальные свадебники на нескольких телегах с песнями укатили к жениху угождаться и петь. И пели там за полночь. И у Кати в светелке тоже пели до первых петухов.

А Махонька чуть было не подкачала: жениховы дружки и сам он, и тысяцкой так вдруг принялись звать ее с собой, почти силком тянули, весь поезд ждал, не трогался, и она уж рукой махнула, ладно, мол, чего там! Да только увидела вдруг, наверху у окна Катя стоит и другие девчата и удивленно смотрят: неуж уедет? Даже стыдно стало: забыла, кто она на этой свадьбе.

Поутру, ни свет ни заря, все опять были на ногах — пришел наконец день венчания. Катю сразу же, даже не покормив, только одев, повели в горницу. Там ее, стоя, ждали мать, сестры и все, кто был рядом в эти дни, и еще много зрителей, которые сгрудились у распахнутой в сени двери. В сенях тоже были зрители. И к окошкам с той стороны их много поналипло.

А по небу быстро неслись рваные сизоватые тучи, все в одну сторону — на закат. Значит, дождя не должно быть. Про это все думали и все радовались — не подвела погодка.

Катя запела:

Ты сдыми, моя однокровна, единоутробна,
Свои руки белые на мою буйну голову
И сойми мою девью красоту...

Две сестры потянули с нее синий платок, но Катя уцепилась за него и не давала. Они стали хватать ее за руки и все-таки сдернули платок, но под ним оказался второй, нежно-зеленый. Она не давалась пуще прежнего, охала и что-то вскрикивала, и эти охи-вскрики пре-

вратились в пронзительный причет, в котором были взлеты необычайной высоты и чистоты. У Кати как будто прорезался новый, удивительный голос, который невозможно было слушать, так он рвал душу, становясь с каждой секундой все надсадней и пронзительней. И она все рвалаась, не давалась, но ее уже держали за руки и за плечи несколько подруг, и она могла только раскачиваться из стороны в сторону и раскачивать державших, и ее богатая русая коса уже моталась сзади, и проворные чужие руки уже расплетали ее и скоро расплели и стали расчесывать, а она рвалаась еще сильнее, и теперь сзади уже мотались рассыпанные роскошные волосы. Что именно, какие именно слова она выпевала, поначалу было не разобрать, слышались лишь хлещущие: «Уж!.. Уж!.. Уж...» Голос все накалялся, накалялся... Потом стали различимы и слова:

Уж и не походила я, не погуляла,
Уж я жила у вас да красовалась,
Уж и когда в пелены да пеленалась,
Уж и когда в зыбочке да качалась.
Уж ты, тятенька, меня годов в десять да увез,
Уж в семнадцать — взамуж давать,
Уж как я вам да надоела,
Уж я и была, видно, у вас да непословна,
Моя головушка была да непоклонна,
Резвы ноженьки мои да не бежаливы...

Девью косу-красу перед венчанием расплетали всем невестам, чтобы сразу после венчания заплести уже две, как замужним. Так что любая пинежанка знала этот причет назубок, видела и слышала на многих свадьбах, а замужние так и сами когда-то все его пели или повторяли за передовщицами. Привычными были здесь и пронзительные вскрики-всхлипы; с высоченными подголосками тут пели очень многое, не только плачи и причеты — очень низкие ноты всегда перемежались высоченными. И все-таки голос Кати достиг такой пронзительности, в нем была такая боль, такая тоска и печаль по уходящей вольной юности и детству, что у многих пошел озноб по спинам. А ближние подруги сперва даже растерялись и замешкались, потому что они собирались сыграть, разыграть этот плач, как разыграли все предыдущие, но у нее это была уже никакая не игра, а настоящая трагедия, как будто она и взаправду шла за немилого и нелюбимого и вот сейчас ничего не видела и не слышала, умываясь горючими слезами, и не пела, не пела, а в истинном забытье голосила-плакала-прочитала, рвала, омывая слезами, души и себе, и окружающим. И все, кто был в горнице, одна за другой тоже начали плакать, а потом некоторые даже навзрыд. Все сгрудились возле нее и гладили, пытаясь успокоить, а она уже уронила голову на плечо леворучницы и только тихо вздрогивала и пронзительно выводила:

Уж в чужих-то да людях добрых
Уж надь жить да умеючи...
Уж надь шелковой травы да пониже,
Уж ключевой воды да пожиже...

Затихнув, Катя стояла сколько-то, не двигаясь, опустив голову. И никто вокруг не двигался. Потом она обмякла, медленно подняла осунувшееся заплаканное лицо, глубоко вздохнула и вдруг улыбнулась, улыбнулась светло и смущенно и всех оглядела с этой смущенной и несколько даже виноватой улыбкой, и в ее больших, еще не просохших серо-зеленых глазах засветилась радость. Все лицо ее засветилось, и она сделалась совсем не похожей на прежнюю Катю — эта была куда взросле, вроде бы и выше ростом, спокойная, умная, хорошо сознающая, что ей предстоит. Хотя сама Катя об этом даже и не думала, просто чувствовала, что обильные горькие слезы действительно омыли, высветили ей душу и та сейчас словно растет и ширится, постигая истинное значение предстоящего.

Махонька ликовала. Значит, не зря она почти три недели не отходила от нее, не зря втягивала в каждый плач и в каждую песню, во все обряды. Сердце и душа у девушки оказались умными, уже чувствовали, в чем главное предназначение женщины на земле. Потчувствовали...

А впереди Катю ждал еще свадебный поезд, венчание в церкви, обратная дорога, трехдневный свадебный пир, величание гостей, приход одетых в лохмотья колдуна или колдуньи, которые будут стучать в пол железной или деревянной клюкой, проплясывать и приговаривать: «Сколько в лесу пеньков — столько вам сынков! Сколько в лесу кочек — столько дочек!..» Ждала ее и первая брачная ночь, до которой они с молодым мужем почти целый день ничего не ели... А на следующее утро потешная баня и потешное подметание пуха в горнице, и передвигание стола... И перегащиваться они должны были со всеми основными родственниками...

Многое еще ждало Катю впереди, но с этого утра она была готова ко всему, она уже знала, понимала, что новая семья — это новое звено жизни. И очень важно, как все зачинается — во зле или в добре и красоте. Створение нового человека, нового мира должно быть чисто и свято. К жизни надо относиться свято.

13

На знайомом белесом небе неподвижно стояло два маленьких белых облачка. Истомно и сладко пахло осокой и теплой водой. Стремительно налетали лютые слепни. Жирно гудели мухи. Шагах в двадцати, тоже в тенечке под обрывом размеренно всхрапывал спавший прямо на теплом песке мужик в серой рубахе.

Сюда, под обрыв, перебрались многие — на пароходе пекло невыносимо. Когда надо, он погудит, позовет...

Не повезло ее дочери, не повезло: столько кругом мужиков хороших, а ей тоже достался пьющий, да еще и злой-презлой. Поначалу-то вроде ничего казался. После смерти Тихона переехали к ней, в Шатогорку. Он даже пристройку к избе сделал, баньку подновил. Лес был — работал на лесоповале и на сплаве. Правда, всегда жадничал, бурчал, что она чужих ребят угождает, а бывало, и злился, орал. И один-разъединственный из всех людей спал или зевал, когда она пела, или махал рукой и уходил... Но, слава богу, тогда еще нешибко злобствовал. В Шатогорке у них и Ефрем с Васяткой народились. А потом раскатал по бревнышку ту пристройку, продал и увез семейство в Кусогору, на свою родину, полдома ему там досталось. Кусогора — это около Веегоры, стоит на склоне горы за Буланским оврагом с Буланским ручьем; овраг огромный-огромный, и ручей — как настоящая речка, но зимой не замерзает и бабы в нем круглый год белье полощут, только зимой берут с собой еще и лопаты, прокапывают в глубоких снегах проходы для санок с коробами, в которых возят мокрое белье... Вот уж здесь-то зятек распоясался. И так-то был чернущий, коготь когтем, а тут, видно, от вина и нутро его обгорело, даже смотреть страшно, до чего темен! А в семействе еще прибавление — Степанида. Как тут без бабки-то? Афанасия хворая, все просит: «Мам, приди! Пособи! Понянчись!» А нынче и вовсе все пропил, сидели без хлеба, она и позвала: «Посбирай, за-ради Христа! Говорят, в городе Пинеге хорошо подают». А Махонька решила, что можно податься потом и в Архангельск, там есть знакомцы, глядишь, тоже пособят. Благо кыркаловский пароход прошел вверх — были такие на Пинеге купцы-пароходчики Кыркалов и Володин, да еще пароход пинежанина протоиерея Иоанна Кронштадтского ходил. Капитан на кыркаловском тоже хороший знакомец, из шатогорских, возьмет без платы. В Архангельск-то сколько раз звали: «Приезжай! Приезжай!..» А больше нынче пароход-

да и не жди — спадет река, против обычного и так уж задержалась, ведь июнь. У этого Великого двора в июне коровы ее вброд переходят, а тут, гляди-ко, дошлепали, первый раз на мель сели. А ниже легче, там таких отмелей уже нет, там глубже.

Да, всем хорошиа Пинега, да только мелка, пароходы лишь в мае, лишь по большой воде, да и то нужен глаз да глаз — топляков-то тьма-тмуцкая, торчат, как рогатины, сплав-то по весне молевой.

Как торкнулись, как свезли народ на берег, Махонька уже успела весь Великий двор обежать; Афанасия верно говорила: хоть еще и не сам город Пинега, только его окол, а подают хорошо — уже полна корзиночка, и даже теплые сметанные шанежки дали.

Хотелось есть. С утра только корочку пожевала, а теперь уж за полдень. Полезла в корзиночку.

— Господи! Вот ты где! Насилу нашла. Все говорят: была — ушла... Чего мимо нас-то?..

С обрыва сыпался песок. Хватаясь за лопухи, по нему спускалась крепенькая ясноглазая молодуха в кудряшках — Прасковья Олькина. Махонька ее и не больно-то знала. Говорили, правда, что она хорошая плачет, плачет на похоронах, но самой слушать не доводилось.

— Подъ-ко к нам! Дело есть.

— Здравствуй, голубушка! Здравствуй, красавица! Како тако дело?

— Московка у нас, этим вот пароходом неделю как приехала. Старины списывает. Я ей про тебя сказывала... Пойдем, сделай милость!

— В трубу, что ли, списывает?

— И в трубу, и на бумагу...

Махоньке вспомнилось, как лет пятнадцать назад, когда еще был жив Тихон, в Шатогорке тоже объявился такой списыватель — видный чернобородый барин в золотых очечках на черном шнурке. Уважительный. Звали Александр Дмитриевич Григорьев. Сказал, что пропечатает ее старины в книжке, но пропечатал ли, нет ли, неизвестно. Полных два дня с ней на вышке сидел, все заставлял петь помедленней и частями и велел повторять по два, по три раза, а это какая же старина, какая же в ней душа! Однако потом читал — по словам все верно. И шибко красивый карандашик у него был: белый, с круглой пипочкой... И в железную трубу писал, на блестящую машину. Крышка-то, как у швейной, только меньше, а внутри чего-то крутится... Смешно! Потом дал послушать и говорит, что это ее голос. И совсем непохоже, шипит, потрескивает. А другие говорят: похоже. А потом там она кашляла раз и сбилась, сказала «счас» и засмеялась, и в трубе это все тоже точь-в-точь было, и она узнала: верно, она. И чаем его угощала с сущеной малиной, уж он нахваливал, нахваливал, а ввечеру в первый день целых два рубля дал, сказал «за работу». А какая ж это работа — старины-то петь. Она тогда даже в ноги ему бухнулась, поняла, что просто очень добрый, щедрый человек — целых-то два рубля за один день! Просто пожалел ее, славная душа. И на другой день еще рупь... Сказал, что на Пинеге от нее больше всех записал, что она молодец, и поехал, поплыл дальше, нанял мужика с лодкой...

Это она вспоминала, уже шагая рядом с Олькиной.

Почему ж не попеть, когда человеку интересно и он из самой Москвы сюда тащился. Что у них, своих старищиков, что ли, мало?.. Только отышаться надо — больно парко... А пароход загудит, когда вода поднимется, когда ее ветром нагонит. Три раза будет гудеть — всех соберет...

Но московка спала после обеда.

— Ну и ладно, ну и хорошо. Я на крылечке и посижу, тут малость обдувает. Ты не буди ее, не буди, я подожду...

Махонька сколько-то посидела, глядя на воробьев, купавшихся в дорожной пыли, а потом, сама не замечая, негромко запела:

Скиновал тут Добрыйня платье цветное,
Ишша наг ведь Добрынушка до ниточки,
Оставляет только Добрыйня един пухов колпак.
Ишша поплыл Добрыйня по синю морю,
Ишша выплыл Добрыйня на первую струю;
Богатырско-то сердце зарывчиво,
Да зарывчиво-то сердце заплычиво;
Ишша поплыл Добрыйня на втору струю,
Да втора-то струя добре относиста,
Отнесла как Доброму за сине море,
И там плавают змеишишо Горынишо...

Она примолкла, думала, как этот змеишишо летал на Святую Русь, со Святой Руси людей живком уносил и унес Владимира-князя племянницу, а Добрынушка зажалел ее и вздумал воротить...

Сказали, от Добройни мне-ка смерть буде;
А ныне ведь Добройня у меня в руках;
А хочу, я Доброму хоть целком слготну...

За спиной Махоньки тихо отворилась дверь, и на пороге застыла крупная заспанная простоволосая женщина.

А когда Махонька, набирая воздуху, сделала маленькую паузу, женщина на цыпочках обошла ее и, показывая руками, что не надо останавливаться, присела на корточки напротив на траве. И смотрела Махоньке в глаза, в беззубый рот и слушала как зачарованная.

Махонька засветилась-разулыбилась.

Лицо у женщины было простое, как у многих пинежских баб, округлое, чуть скуластое, но очень красивое, даже и не прибранное, даже со сна: нежного цвета, на щеках ямочки, а глаза хоть и сероголубые, но яркие-яркие и блестят, как у темноглазых. И на полных руках у локтей тоже ямочки, и у пальцев, и руки эти тоже очень красивые, и по ним видно, что она барыня. А по лицу и по грузной фигуре можно бы и не признать, что она барыня. Нет, все же и по лицу видно, хоть и простоволосая, хоть и в одном ситцевом халате и босая. Вот бары-то! В чем захочет, в том и выскочит, почитай, в одном исподнем...

Потом женщина бросилась целовать Махоньку и сказала, что такого замечательного пения никогда не слышала, что она самородок, и стала называть ее бабушкой. Ну, бабушкой так бабушкой — слово доброе.

И еще Махонька отметила, что у нее богатый, красивый голос, очень игристый.

Это была Озаровская — Ольга Эрастовна Озаровская, артистка и собирательница фольклора. Она сразу потащила Махоньку в избу, схватила тетрадку: давай записывать! А та почувствовала голод, вспомнила, что так и не поела, достала из корзинки свежие шанежки и протянула одну Озаровской: «Давай сначала поедим!» — «Давай! Давай!» — обрадовалась Озаровская и, откусив, стала нахваливать: отродясь, мол, таких вкусных ячневых шанежек не едала, во рту словно сметана. А Махонька ей: «Такие подают. Утресть тут в Великом дворе и насбирала». — «Милостыня?!» — «Милостыня, куда ж денешься». Озаровская хотела, аж груди трясутся и слезы на глазах. Махонька даже обиделась, голову вниз, а она заметила и опять обнимать, опять поцеловала и этак серьезно-серъезно и говорит: «Что ты, бабушка! Что ты!.. Это я над собой. Милостыню-то первый раз вкусила. А ведь сказано: кто из рук нищего трижды будет накормлен, тем обоим великое счастье. Значит, это великое счастье, что мы с тобой встретились! Нам обеим!» И захотела еще одну шанежку... И стала спрашивать про жизнь и все удивлялась, что Махонька и про худое говорит, не жалуясь и не сетуя.

Было и было, что тут поделаешь. Хорошего-то все равно больше. «У меня век тоска не бывала!..» Деда вспомнила, как ходили на Зимние Кеды. Тихона, как он надумал в первый год увести ее в Вологду. «Вот повидала-то!..»

А потом стали записывать, и как Озаровская ни строчила карандашом в тетрадке, как ни поднимала над переносьем и ни сдвигала озабоченно свои красивые брови, а все ж вдруг бросит писать и, блестя глазами и восторженно улыбаясь, только смотрела, только слушала и опять вслух громко удивлялась, всему удивлялась: Махонькину голосу, его чистоте и силе — «Всего при трех-то зубах!» — ее лицу, ее светящейся улыбке, ее памяти, ее росту и худобе, ее говору, поведению, уму.

А в избе уже был народ: помощница Озаровской, ее мальчионкасын, хозяева, их соседи, которые, заслышиав Махонькино пение, подходили и подходили, осторожно просовываясь в дверь, чтоб не помешать. Были и те, кто еще утром подавал ей, но теперь и они, заряженные удивлением и громкими восторгами Озаровской, тоже смотрели на Махоньку, как будто видели впервые. И ей это было очень приятно и радостно — из своих-то вслух никто особо не расхваливал, да и какими все словами-то: «Северный жемчуг! Настоящая артистка!» У Махоньки единственный видный зуб и тот ярко светился, споря с золотом вечернего солнца, заливавшего избу.

— Бабушка, поедем в Москву!

Ответила храбро:

— Поедем. Петь, что ли?

— Петь. Выступать.

Бабы заохали, замахали руками.

— Куда ты, бабка! Ведь помрешь!

— А не велико у бабушки и костье, найдется ли где место его закопать?

— Только прежде все запишем. И других тоже. И с урядником надо повидаться, а то он нас, кажется, за германских шпионов принял. Вчера пришли, говорят, был, все разглядывал, расспрашивал: зачем и чего пишем? И вот труба от фонографа исчезла...

Год был девятьсот пятнадцатый. Шла первая мировая война.

14

В молодости, задолго до увлечения фольклором, дочь генерала Озаровского Оля училась математике на высших женских курсах, затем девять лет работала в Палате мер и весов помощницей Менделеева, и ей прочили серьезное научное будущее, считали талантливым математиком и химиком. Но у нее обнаружился еще один талант — прекрасного имитатора. Не было голоса, который она не могла бы скопировать, причем так точно, что даже люди, находившиеся рядом, отвернувшись, никогда не могли угадать, говорил ли сейчас подлинный обладатель того или иного голоса или Озаровская. Она стала выступать на профессиональной сцене, пародируя тогдашних знаменитых актеров, и к ней скоро пришла слава лучшего имитатора-пародиста России. Потом стала включать в свой репертуар и серьезные вещи, но тоже оригинального речевого свойства: с народными говорами, фольклорные. Как раз с целью обогащения репертуара Ольга Эрастовна и поехала первый раз на север, да «заболела» севером и фольклором всерьез, занялась его собиранием, изучением.

Осталось несколько голубых и зеленоватых, в разводах папок с очень потрепанными тетрадками и листочками, исписанными, в основном, карандашом. Есть в этих папках и фотографии, и довольно много рисунков, сделанных простыми и цветными карандашами, есть и акварели. Пейзажи, избы, церковки, крестьянская утварь, наряды, но

больше всего портретов. Рисованы они не совсем умело, но сходство схвачено, видимо, цепко — каждый внешне очень индивидуален, хорошо чувствуются их характеры.

Вот скучающий курносый мужичонка в заплатанном армяке, с широкой бородой и белым обручем на волосах; глаза у него напряженно-завороженные и чистые, какие бываю только у детей и больших поэтов. Тут же надпись: «Дер. Немьюга. Ефим Чепцов — исполнитель духовных стихов. Носит берестяной обруч от головных болей (контужен)». А пониже в кавычках его слова: «Как тоскливо, поедешь в лодоцке один и поешь; вроде как сам себя тешу, а люди говорят, «колдун»... Одно слово неправильно выговори, оно неправильно существует — не так действует...»

А вот профиль остроносого и остробородого мужика в рубахе, стриженного под горшок. Лицо необычайно одухотворенное. Подпись: «Гаврило Никитич Кыргичек — Баюнок. «За этой говорью все на свете забуду... Вот фунт масличка в избушке забыл, как с вами ночевал да казки баил...»

Такие же характерные лица прядущей бабы-песенницы Авдотьи Широкой или Мгляхи, узколицего, узкобородого и длинноволосого Якова Федоровича Попова, по прозвищу Порхаль, густо заросшего черными волосами, задумчивого и умного «сказочника и колдуна» Афанасия Яковлевича Нечаева. «Афанасий — он учительный... Он уж утешит (из разговоров)».

Портретов десятки — настоящая портретная галерея пинежско-кулойских старинщиков, песенников и сказочников, живших в девяностых годах.

Автор всех рисунков тоже Озаровская.

Есть и десятки звуковых записей, сделанных Озаровской на фонографе. Правда, не целых вещей, а лишь отдельных отрывков. Она экономила восковые валики; возить их много было сложно и тяжело, они довольно объемные и увесистые. Среди этих отрывков есть и живой Махонькин голос, теперь он навечно покоятся на черном воске в круглой синей картонной коробочке среди тысяч других таких же коробочек с голосами Льва Толстого, Блока, Шаляпина, Есенина, Горького...

15

На сцену Ольга Эрастовна выходила первой. Крупная, статная, в парчовом сарафане, в отороченной мехом бархатной душегре и высоком, шитом жемчугами кокошнике, она красиво, совсем по-пинежски пела-рассказывала о старинах и о бабушке Кривополеновой. И тут уж появлялась Махонька. Появлялась в своем обычном длинном домотканом сарафане-синяке с пуговками от верха донизу, в пестрой рубахе да в белом или сереньком платочек. Бывало, и в валенках. Одевать какую-либо другую одежду отказалась наотрез:

— Как была, так и буду!..

И ей было совершенно все равно, сколько перед ней народу и какой он, и какая вокруг обстановка — мрамор и золото благородного собрания или облезлый актовый зальчик какой-нибудь гимназии. А Озаровская-то, пока везла ее в Москву, все опасалась: «Ну как заробеет она перед новой публикой и большими аудиториями!» Недооценила она бабушку...

А раз Ольга Эрастовна опоздала, а зал был уже полон, и Махонька пошла на сцену одна. Народу много — гудят, галдят и на крошечную старушку на сцене и внимания не обращают. Решили, видимо, что это какая-то уборщица маячит. Махонька посмотрела, посмотрела, подошла к самой рампе да вдруг во всю силу своего голоса как гаркнет:

— Угомонитесь-ко! — прямо оглушила.

Тишина сделалась полнейшая. И она не хуже Озаровской, правда,

ее же словами рассказала о старинах и чуток о себе, затем объявила что ей надо распеться, а то нынче у нее «голос не бежит» и поэтому она сначала споет одну песню.

— Вот буду вам петь, а потом припев все пойте. Я руцкой махну платоцком тряхну — все пойте!

И так огнево и заразительно завела «Посеяли девки лен», что ей действительно стали подпевать. А после первой старины зал просто онемел, и следующую она начала в гробовой тишине, когда кончила и ее, сколько-то тоже стояла гулкая тишина, потом в проход выскочил парень в студенческой тужурке с коробкой, видимо, почтых конфет, потому что они стучали в коробке, и побежал к сцене и протянул эти конфеты Махоньке: «Бабушка, возьми, пожалуйста! Больше при себе ничего нет. Возьми!.. Спасибо тебе великое, бабушка!..» Она нагнулась к нему, и он ухватил ее за щеку и громко поцеловал в щеку. Зал загремел бешеною овацией. И несколько человек еще побежали к сцене и тоже совали ей коробки, цветы, а кто-то даже и нарядную гарусную шаль, видно, прямо с собственных плеч. Она брала все это, приседая на корточки, светилась солнышком, целовалась с людьми и махала, махала рукой, успокаивая зал. И снова пела, а под конец «Небывальщину да неслыхальщину», и зал уже разом взрывался дружным хохотом, разом притопывал, разом гремел полтысячей голосов: «Небывальщина да неслыхальщина...» Даже солидные, седатые, как она говорила, люди и те горланили и притопывали, а потом, по меньшей мере, полчаса били отчаянно в ладоши, не отпуская ее со сцены. А она прижимала мосластые кулачки к груди и кричала:

— Притомилась! Боле не могу! Пожалуйте завтра в университет. Приглашаю...

И кланялась до пола!

Залы Московского университета, Политехнического музея, эстрадных театров, залы научных обществ, учебных заведений, светские гостиные и гостиные в домах писателей, артистов и художников... Следом за Москвой Петроград, а через год, в девяностот шестнадцатом, новый приезд в Москву и большие гастроли почти по всей европейской России: в Харьков, Екатеринодар, Таганрог, Новочеркасск, Ростов, Саратов, Тверь, Вологду, снова в Петроград, в Архангельск...

Сколько было восторженных заметок, интервью, статей в газетах и журналах, сколько было напечатано фотографий — и ее одной, и вместе с Озаровской, — были даже фотографии в целую журнальную страницу... Но Махоньку они почему-то мало интересовали, как, впрочем, и то, что про нее писали. Поглядит, послушает, а иногда даже и брови удивленно вскинет: «Вышла... Спела... И все?!»

— А чего на войне-то?

Каждое утро просила Ольгу Эрастовну читать ей сводки с фронтов. И, если они были короткими, засыпала вопросами: «А что в Рижском районе боев? У Двинска? В Буковине? В австро-сербской войне?..» Все направления помнила. И, кто ранен и убит, просила читать. И про положение с дровами. С продовольствием. Подолгу вглядывалась во фронтовые фотографии, в лица солдат и офицеров. Несколько раз тихо плакала, говорила, сколько дома, на Пинеге,увечных солдат видела да слушала...

И в своих стариных стала поминать «ерманца». Поет Илью Муромича и Калина-царя, как «он ведь просит города Киева без бою, без драки, без сеченья», и добавляет: «Как нынешний ерманец!»

Менее чем через год имя Марии Дмитриевны Кривополеновой знала уже вся грамотная Россия. Причем она стала не просто знаменитостью — она стала за этот год национальной гордостью России. И дело доходило до того, что в Харькове, например, после ее выступления молодежь остановила трамвай и несла Махоньку по людному вечернему проспекту на руках до самой гостиницы и потом никак не хотела с ней расставаться...

Для большинства она была как радостное откровение, переворачивающее их души и понятия. Ведь образованные люди и до нее вроде бы знали старины-былины, читали их — былины входили в тогдашний гимназический курс, незнакомой была только «Вавила и скоморохи», — а вот в пении, да еще в таком потрясающем большинство слушали их впервые. То есть большинство молодых и старых горожан впервые в жизни испытывали колдовскую силу древних напевов, и благодаря Махоньке все представляло перед ними совсем иным, чем на книжных страницах. Они впервые почти воочию, почти осязаемо видели свою родную ушедшую Русь не только нищей и пьяной, не только жестокой и темной, но славной и могучей, с великими богатырями и правдолюбцами, с веселым озорством и удалью, мудростью и простодушием, чистотою помыслов и широтою дел. Да и сами эти старины, само это величественное ошеломляющее искусство — его же тоже создала ушедшая Русь, русский народ, те же «темные и забытые» мужики и бабы, которые, оказывается, и по сей день хранят эти напевы, живут ими, тогда как город их забыл.

Это люди шли, да не простые,
Не простые люди-те, святыне —
Ишша я ведь им да не молился...

Мало того, каждый видевший и слушавший Махоньку, а тем более разговаривавший с ней, чувствовал, что эта крошечная лобастая ста-рушка — сама живое воплощение того лучшего, что есть в русском народе, и что она знает о жизни что-то такое, чего они, прочитавшие сотни, а может быть, и тысячи умных книг, не знают...

А ведь годы-то были предреволюционные. Народ разгибал веками согбенную спину, и умы и души людей пребывали в страшном брожении, искали твердых идеальных и духовных опор.

Художники кинулись рисовать и писать портреты Махоньки. Каждый день кто-нибудь приходил на квартиру Озаровской с этюдником или альбомами. Махонька позировала охотно, художники ей нравились — азартные, до упаду готовы чиркать карандашами или мазать красками.

Пришел как-то и жилистый короткобородый насупленный человек, которому Ольга Эрастовна очень обрадовалась. Сказала, что это знаменитый скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. А тот долго держал Махонькину руку в своей большой железной ручице и в упорглядывал ее, как будто даже жег глубоко спрятанными светлыми глазами. Стал радостно улыбаться и предложил сразу же одеться и поехать к нему в мастерскую. Он покажет ей свои работы и хочет сделать ее бюст. «Как лепят, еще не видела. Поедем поглядим!» И долго, долго ходила по его огромной мастерской, тесно заставленной всевозможными скульптурами, и ни о чем не спрашивала. Только видно было, что ей не нравятся голые фигуры — совсем их не рассматривала — и удивляют закутанные в мокрые тряпки. Коненков объяснил, что эти еще в работе, а они из глины, и, чтобы глина не сохла и не трескалась, их заворачивают после работы в мокрые тряпки. «Поняла... Больно у тебя вот эти-то хороши. Жизненные...» И показала на головку смеющейся юной Ники, на боевика, на Паганини и Баха... Точно показала, это были действительно лучшие портретные работы Коненкова. Потом спросила, а из каких он сам-то, и страшно обрадовалась, что тоже деревенский, смоленский, стала расспрашивать про отца, мать, живы ли, где сейчас... Потом сказала: «Какие у тебя двери-то веселые!» Он удивился, не поняв, чем это они веселые — они были обычновенные, белые. «Голоса у них веселые», — «Голоса?!»

Он никогда не слышал своих дверей, они совсем не скрипели.

Но, оказывается, немножко все же скрипели, и вот она уже подметила, как имя. Дала и ему послушать, и он убедился, что в их еле различимом скрип-шуршании действительно было что-то веселое.

Она стала объяснять ему вообще про голоса, которые есть буквально у всего, сказала, что старины — это голоса прошлого. А потом, отвечая на его расспросы, рассказывала о себе все как-то вскользь, чуть-чуть, но зато очень подробно о том, как у них выделяют овчины и красят тканины: берут краску кубовую или индиго, известье, золу, сандал, купоросное масло, коломенскую глину, аравийскую камедь, шубный или мездряной, или рыбий клей. Рассказывала, как собирают живицу — сосновую смолу. Как хитро щиплют лучину, но что с благовещеньем в избах сидят уже без света, снова зажигают его только после ильина дня. Что от укуса осы надо прикладывать сукно с натертым на нем мылом. Что, если выпущенные на волю овцы высоко и весело прыгают, это к хорошей погоде. Что падающая звезда с неба означает кончину праведника на земле; в этот момент надо трижды говорить «аминь». Что под крещенье девки моют кончики башмаков водой и ложатся в них спать, повторяя: «Суженый, ряженый, разуй меня!» Он должен присниться и разутъ. А в само крещенье или в Новый год смотрят в избе через хомут — суженый должен показаться. Или делают из теста тонкий блин «сосень», кладут его на голову под платок и молча, ни с кем не говоря, выходят на улицу и спрашивают имя у первого встречного...

Коненков слушал и восторженно думал: «Сколько же она знает!..»

Он уже работал, «тяпал», как она потом рассказывала, глину «на этакую вертушечную штуку».

И на следующий день «тяпал» с раннего утра чуть не до самой ночи. И на третий. И на четвертый. Сна уж сама наладилась ездить к нему с Сивцева Вражка на Пресню. Ольга Эрастовна даже начала удивляться: «Не затеял ли он там с ней какую грандиозную скульптуру?»

Нет, он лепил обыкновенный бюст, и они говорили о жизни. Обо всем. Коненков вспоминал даже девятьсот пятый год: как он был начальником боевой дружины, как строил на Арбате бастионы и сражался с драгунами... Они никак не могли наговориться, никак не могли расстаться, хотя на пятый день бюст был уже готов и Коненков при ней же притащил здоровенный деревянный чурбак, чтобы, как он сказал, «перевести бюст в дерево». А уже без нее и чуть позже Сергей Тимофеевич взял еще один, примерно полутораметровый отрезок цельного ствола и вырезал из него Махоньку в полный рост в ее обычном наряде да с сумкой и посошком. Вернее, не совсем вырезал, а как бы только обозначил, сзади дерево оставил нетронутым, и фигура слилась с ним в единое целое, как бы с самой природой слилась. По внешности точь-в-точь она, сама суть ее схвачена — выражение лица, взгляд, поза, — и в то же время она похожа на многих-многих русских старух, которых в народе называют обычно вецими и очень любят. Коненков так скульптуру и назвал «Вещая старушка», и это, несомненно, тоже одна из лучших его работ и вообще один из лучших женских образов в русской скульптуре.

С этой работой произошла поразительная история: уже готовую Коненков поставил ее в дальний холодный закуток, в который не заглядывал два или три зимних месяца. А когда наконец заглянул, то буквально осталбенел: на плече и на голове деревянной Махоньки выросло три больших гриба. А ведь дерево было совершенно сухое.

Пораженный скульптор сфотографировал эти грибы и даже отформовал и отлил в гипсе — боялся, никто не поверит, что такое произошло именно с вещей старушкой...

16

В печати и изустно все без конца хвалили, благодарили Озаровскую за то, что она открыла России такую редкую жемчужину. Так и писали: «Редкую жемчужину».

А сама Ольга Эрастовна чем дальше, тем все больше убеждалась, что практически еще только-только при-от-крыла ее, и неизвестно, откроет ли когда до конца, потому что эта семидесятихрехлетняя огневая старушка почти каждый день была в чем-нибудь да новая. Вдруг оказалось, что для нее нет людей больших и маленьких, господ и не-господ, ученых и неученых, а есть только богатые и бедные, злые и добрые, умные и глупые, интересные и неинтересные. И она всем без исключения говорила «ты», только в знак особого уважения добавляла некоторым мужчинам «батюшко», а женщинам «матушка». Оказалось, что она полна чувства собственного достоинства и никому не позволяет задевать его. Один молодой надутый репортер, бравший у нее интервью, видимо, решил мимоходом позабавиться, спросил, чем город Пинега отличается от города Москвы. Она сощурилась, очень серьезно ответила: «В Пинеге бытто жерди потолще», — и тут же ушла, даже не кивнув ему...

А в Екатеринодаре Озаровская как-то поутру застала в ее гостиничном номере солидного господина в золотых очках, которого накануне приметила на концерте, а после и возле Махоньки. Теперь этот господин сидел перед ней, низко склонив голову, и тихо плакал, жаловался на жизнь, которая не задалась из-за несчастной любви, просил совета, как быть дальше. А она гладила его по голове, как малого ребенка, и из глаз ее тоже текли медленные слезы. А когда уезжали, он пришел с цветами на вокзал и еще вытащил вдруг серебряные часы с цепочкой. «Возьми, пожалуйста! В память... Тебе ни к чему, понимаю. Возьми внуку в память!»

И поцеловал ее коричневые костлявые руки...

Удивительным оказалось и ее отношение к деньгам. За большинство концертов ей платили, и, по крестьянским меркам, у нее скоро собралась изрядная сумма — около трех тысяч рублей. Но себе она почти ничего не покупала, только беличью шубку да полусапожки на шнурках, про которые сказала, что мечтала о таких еще в Вологде, еще лет пятьдесят тому, почитай, всю жизнь мечтала. И о беличьей шубке тоже... А вот внукам накупала столько всякой всячины, в том числе и ненужной, что Ольга Эрастовна даже стыдила ее за транжирство. И следила, чтобы она не делала дорогих подарков своим новым знакомым — она страсть как любила делать подарки. Очень любила получать их и дарить. Одному только швейцару в доме, где жила Озаровская, сколько денег передавала.

Ольга Эрастовна отвела ей в своей квартире небольшую солнечную комнатку, а дом этот, расположенный на Сивцевом Вражке, был фешенебельный, с лифтом и гардеробом в большом вестибюле. Важный седой швейцар распахивал тяжелую нарядную дверь и перед одной Махонькой, помогал ей раздеться, потом поднимал в лифте на третий этаж, и эта торжественная услужливость немолодого солидного человека в красивой одежде с золотыми галунами очень ее трогала. Она всякий раз низко ему кланялась, когда входила в подъезд и когда выходила из лифта. Его это смущало, он краснел, отводил глаза. А потом она приметила, что некоторые жильцы и гости суют ему монетки, и стала всякий раз давать ему «от себя серебряный рупь». Он протестовал, говорил: «Это очень много!» А она успокаивала: «Ты человек тоже бедный, а у меня деньги шальные. Бери! Бери!»

17

Ярко горели фонари. Ярко блестел снег. Ярко сияли черным лаком просторные сани с тяжелой медвежьей полостью. Тумбообразный кучер в синем кафтане и больших желтых рукавицах туга натягивал вожжи, но сытые гнедые кони все равно перебирали ногами и всхрапывали, позванивая бубенцами.

Высокий прямой губернатор в накинутой на плечи бобровой шубе медленно спустился с ней по красивой, очищенной от снега лестнице до самого низу, до санок, медленно взял ее сухую жесткую руку в свою, очень мягкую и узкую, подержал, поблагодарил за «большое удовольствие», но лицо у него весь этот вечер было удлиненно-удивленное, а глаза чуть вытаращены... Он, видимо, никак не мог понять и поверить, как это так случилось, что он стоит сейчас и разговаривает, впервые в жизни разговаривает с какой-то деревенской старухой, со вчерашней нищей, а два часа назад встречал ее в своем дворце, слушал ее длинное пение, даже хлопал ей и вот распорядился отвезти на казенной тройке до самого дома да с провожатым... Нелепость! Но что он мог поделать, когда о ней трубит вся российская пресса и у него все без конца спрашивают: знаком ли он с этим дивом, слушал ли ее?..

— До самого дома! — повторил он провожатому...

А дома вдруг объявилась тьма-тьмущая всяких родственников. Один племянник еще даже в Архангельске пожаловал и почему-то попросил одеяло. Купила. И все просили, больше, правда, денег в долг. И она давала. Всем давала, хотя и так одной лишь внучке одних лишь сарафанов привезла пятнадцать штук.

И Кирилл подсыпался. Афанасия-то в пятнадцатом году померла, еще после той болезни, когда в Пинегу-то просила сходить. Он, зятек-то, уже на другой обженился, а тут наобещал срубить для нее вышку на избе в Кусогоре, чтоб была, значит, вместе с любимыми внуками, а она ему чтоб только купила лошадь. Худо ведь мужику без лошади — вроде бы и не мужик. И ведь знала, что обманет и ничего не исполнит, а уж больно хотела поверить. Тоже дала денег. И раз, и два, и три, а он, как последнюю копейку выудил, так совсем ополоумел, зальет глаза и орет: «Еще и ты на мою шею! Певунья!..» А сам рукой-то в ее черной корзинке шарит, корочку ищет, жрать, аспид, хочет... А проспится, глаза бровями заслонит и чем ни попадя громыхает да шаркает... Потом и выгонять стал: «Пошла! Попой! А у нас своих пять ртов, тебе не оставлено...»

И снова катилась из деревни в деревню теперь уже знаменитая на всю Россию Махонька. Опять побиралась. Опять жила где придется. Хотя домишко ее в Шатогорке был цел, стоял, замкнутый палкой. Дверь без замка была приперта палкой, и все. Опять она пела, и больше всего ребятишкам. Возилась с ними теперь, как никогда. Бровень в их игры играла: в отгадки, в прятки, даже в «бабки». Ходила с ними по ягоды, рыбачить ходила. Рассказывала о войне, какие видела страшные фотографии, про каких слышала славных героев... Сказки им сканьвала на голоса и в лицах. Пьяного попа представляла, старика со старухой, у которых была курочка-ряба; и голос сделает совсем чужой, и лицо, и все ухватки, даже курицу представляла, да так здорово, что ребятишки визжали от восторга... Объясняла, почему нельзя убивать даже лягушек. Вроде бы был какой-то человек на земле, а божьи угодники превратили его в лягушку. За что превратили, неизвестно. Но выходит, что все лягушки от того несчастного человека. А несчастных надо жалеть, а убивать — вообще страшный грех... Объясняла, что если вороны ходят по дороге или в избе скрипят двери — это к теплу, а если уголье в печи сильно красное — это к холоду... Что болящие трещины на ребячих ногах, их еще вороньими сапогами называют, надо помыть теплой водой, а потом мочою, и все пройдет...

Но главное — без конца им пела и заставляла всех подпевать, разучивать новые песни и старины, сначала, конечно, которые полегче:

По поднебесью да сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом да при направливает...

Многие ребяташки, прослышиав, что она где-нибудь поблизости, тащились встречать ее за околицами. Случалось, по полдня, по целым дням даже зимой за околицами ждали.

И еще она всем рассказывала теперь о Москве. Не о своих выступлениях и успехах и как ездила там «безконех», то есть на редких тогда автомобилях, об этом лишь иногда, когда кто сильно попросит. Рассказывала, что вот сколько лет пела она о каменной-то Москве, об Иване Грозном, о Марье Демрюковне и других людях, а теперь, слава богу, и самой довелось все повидать, все их места. «Уж правда, каменна Москва, дома каменны, земля каменна... Ивана Грозного своими глазами видела (это про портрет), знаю уж, что не врака, а быль же, бывало... И за Москву-реку к Скуратке ездила (это к предполагаемому дому Малюты Скуратова Озаровская ее возила)... И по Калиновому мосту хаживала (так она прозвала Каменный мост), все-все правда-истина. А была бы неправда, я о неправде и петь бы не стала...»

18

Ольга Эрастовна все яснее понимала, что их встреча — это огромное событие не только для России, но персонально и для нее, Озаровской. Может быть, главное событие всей ее жизни.

И она написала об этом, то есть все, что знала о Махоньке: и о том, как они встретились, и что она о ней думает, и как теперь не может без нее жить. Написала и о северном фольклоре. Вернее было бы сказать, не написала, а как будто пропела все это тем мягким сочным полусказом-полунапевом, который можно услышать только на Пинеге. Сделала о Махоньке целую книжку, поместив туда и все записанные от нее старины, духовные стихи, заговоры и сказки. Называлась она «Бабушкины старины» и вышла в тысяча девятьсот шестнадцатом году, позже выходила еще.

19

Анюта, приложивая за плечами холцовый мешок, поинтересовалась:

— Ты кого потеряла?

Махонька не ответила, смотрела с улыбкой на приближающийся легковой автомобиль...

Каланчевская площадь кишила, как растревоженный улей, точнее, как тысячи растревоженных ульев. Извозчики, трамваи, ломовики, редкие автомобили, носильщики, торговцы леденцами, пирожками, мороженым и цветами, мешочники, дачники с сумками, молочницы с бидонами и четвертными бутылями, красноармейцы в остро-верхих шлемах, приличные пассажиры и вокзальная шпана, милиционеры и нищие — все это густыми толпами, ручьями и вразброс текло, плазло, крутилось и сновало по огромной площади. приливало и отливало от трех вокзалов, образовывало заторы у трамвайных остановок, под Каланчевским мостом и у магазинов напротив Ярославского, все это громыхало, гудело, звенело, стучало, визжало и зычно кричало «Поберегись!» или «Вот махорка — вырви глаз, налетай, рабочий класс! Раз закуришь, два курнешь, а на третий и помрешь!» или «Ну, кого, кого до Кур-ско-го?!», все это несло невесть откуда тяжелую горячую пыль, прело в каменно-булыжной духоте, воняло лошадиным потом, навозом, угольной и бензиновой гарью, самосадом, жаренными на постном масле пирожками, резедой и гвоздикой...

Анюта, как всякая москвичка, не любила Каланчевку, шалела на ней и хотела побыстрей убраться, сесть в трамвай и дергала Махоньку за рукав. Но та словно не могла нарадоваться, что снова в

Москве, все улыбалась и, проводив взглядом один легковой автомобиль, следила теперь за другим, а когда и тот проехал мимо, очень удивилась:

— Он че, не встречает нас?!

— Кто?

— Да Начарский-то!

Так она называла наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского.

Шел двадцать первый год. Луначарский сам вспомнил про Марью Дмитриевну, навел справки, жива ли, здорова; предстоял III конгресс Коминтерна, и он хотел, чтобы среди прочих талантов России в концертах для делегатов конгресса поучаствовала и она.

На Пинегу за Махонькой была отряжена студентка Московского университета, будущий фольклорист, ученица Озаровской Анны Дмитриевны Ипполитова, а попросту Аньота, потому что девушке шел всего лишь двадцатый год.

Главная сложность состояла в том, чтобы добраться до Пинеги и благополучно привезти оттуда семидесятивосьмилетнюю старушку — на транспорте ведь еще свирепствовала разруха, поезда ходили еле-еле, брались штурмом. Но Озаровская знала, кого рекомендует: девушка была не по годам энергична и смекалиста, а кроме того, еще и миловидна и большая хохотунья и певунья. В Москве она по собственной инициативе запаслась не только громкими мандатами и даже побывала по поводу билетов у Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, но и получила вместо денег, опять же по собственной инициативе, мешок махорки, и эта махорка действовала безотказно — на пятый день Аньота была уже на средней Пинеге.

Но оказалось, что Махонька ушла на Мезень, аж за двести с лишним верст. Ее вызывали по телеграфу, и когда она наконец объявилась и Аньота объяснила, что теперь ее приглашает в Москву сам Луначарский, Махонька, да и все вокруг решили, что это неспроста, что из-за одних старин сам народный комиссар, то есть, по-бывалошнему — полный министр, никак не стал бы посыпать за ней нарочного и звать в столицу. Не иначе как Советская власть надумала собрать со всей Расеи самых мудрых стариков и старух и посоветоваться с ними, как лучше устроить и обладить новую жизнь. А с Пинеги для этой цели лучше Махоньки, конечно, никого нет. Она решила, что в таком разе надо проехать по всем деревням и послушать людские на казы, кто что желает от новой жизни, посоветоваться, да и попрощаться честь по чести, как полагается, когда человек на такое большое дело собирается. Чтоб, значит, было действительно от всей пинежской земли. И она, собрав свой мешочек, усадила Аньоту в лодку, и они поплыли вниз по реке и на подходах к деревням по знаку Махоньки в два голоса обязательно запевали какую-нибудь торжественную, радостную песню, чаще всего из свадебных. «Чтоб слышали, кто плывет, чтоб вся деревня высыпала!»

На горы, горы высокой, раю-раю-раю!
На красы немалой, раю-раю-раю!
На красы на великой, раю-раю-раю!
Тут стояла карета, раю-раю-раю!
Карета золотая, раю-раю-раю!
Что во той же карете, раю-раю-раю!..

Вот когда Аньоте пригодились ее сильный голос и знание фольклора.

Махонька обязательно выходила на берег, всем кланялась, благодарила за добро, объясняла, зачем пожаловала, и после разговоров ее провожали обычно уже действительно всей деревней, и она снова торжественно кланялась на три стороны:

— Ждите!

И вот ее никто не встретил: ни сам «Начарский», ни кто-либо от него. Многих встречали, а их нет. А Озаровской и не телеграфировали.

Расстроилась очень. И всю дорогу в трамвае вздыхала. Но вот на Сивцевом Вражке отворилась знакомая дверь, Озаровская, ахнув, всплеснула руками, они кинулись друг к другу, потом, отстранившись, разглядывали друг друга, смеялись и чуть-чуть всплакнули, и уже не отходили друг от друга до самого вечера. Ольга Эрастовна показывала ей все новшества в своей квартире, показала, как прибрала к приезду ее солнечную комнатку. Даже припасла целую коробку цветной пряжи для вязания. Это в двадцать первом-то году — знала, чём больше всего порадовать бабушку. И обе опять и опять вглядывались друг в друга и все спрашивали, как каждая прожила эти огненные четыре года? Озаровская, оказывается, искала ее, писала и на Пинегу и в Архангельск, но у них ведь были даже интервенты — англичане. «Прям в Шатогорске было несколько,— сказала Махонька.— Ходят, точно жерди, и, точно глухие и слепые, никого не видят... Тяжело им жить... Наши мужики их и выгнали... А деревня то за белых, то за красных, а белые лезут в погреба — боятся, застрелят. День хоронятся, два, пять, я и думаю: почему ж они белые, когда такие же наши мужики, как и красные? Не богатеи. Пошла к красным, говорю им про все про это, а командир мне: «Верно, но только ты это не нам, а им растолкуй. Выйдут — расстреливать не будем!» Ну я-то знаю, где кто хоронится. Пошла, всех сговорила, все вышли. Вот!»

Чувствовалось, что она гордится этим своим делом и немного хвастается.

А про обиду на Луначарского Ольге Эрастовне так и не сказала. Это сделала Анюту.

А вскоре Озаровская опять стала устраивать концерты и встречи, Махонька опять много пела, ее записывали фольклористы, причем, в основном, песни и сказки, которые раньше у нее не записывали. Она опять чувствовала свою силу, опять видела вокруг себя только восторг и любовь, но старость все же брала свое: быстрей уставала, иногда на концертах вдруг останавливалась и просила Анюту подпевать ей, объявляя залу, что «вот, голосу уже не хватает!».

Анатолию Васильевичу рассказали о ее обиде, и недели через две он приехал вечером к Озаровской.

У Ольги Эрастовны, как всегда, были гости. А Махонька сидела в своей комнатке, вязала носки, тихонько что-то мурлыкала. Луначарского усадили в гостиной — он в этом доме был впервые,— а к ней пришли, сказали, что вот, мол, приехал специально познакомиться. А она напевать перестала и губы в ниточку: «Я еще носок не довязала!» Ну там сколько-то посидели, поразговаривали и снова к ней. «Ждет ведь! Специально приехал!» — «Когда будет пора, приду. Я дальше ждала!»

И вышла только после третьего приглашения, после того, как Ольга Эрастовна стыдить ее стала. Вышла строгая, с поджатыми губами, на саму себя непохожая. Церемонно поклонилась, церемонно протянула руку. Присела на краешек кресла и минут десять молча только головой кивала да настороженно, оценивающе поглядывала через поблескивающие стекла пенсне в острые темные глаза Луначарского, на его огромный и тоже поблескивающий под лампой желтоватый лоб, на его прыгающую капельную бородку, на полу военный френч, на тонкопальые руки. На руки особенно долго смотрела, на то, как они спокойно, как устало и долго лежат на белоснежной скатерти. И начала оттаивать. А он вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, да так уважительно. Она любопытных людей любила, сама ведь была страсть какая любопытная. Даже про носки и варежки спросил: почему, мол, она их такими пестрыми и яркими вяжет? «Так ведь красивше, веселей!..» Кивал, соглашался. Хорошо говорили. Потом он даже и не просил, она сама стала петь да так разошлась, что уже

за полночь пошли ее любимые скоморохи творить одно чудо за другим: наказали крестьянина, который молотил горох и усомнился, что они смогут одолеть кровавого царя Собаку; Вавила заиграл во гудочек, во звончатый во переладец, Кузьма с Демьяном припособили, и невесть откуда налетели целые стаи голубей и стали клевать у мужика горох, он кинулся зашибать их кичагами.

Зашибат, он думат, голубяток,
Зашибал да всех своих ребяток.
Говорил да тут да ведь крестьянин:
«Я ведь тяжко тут да согрешил;
Это люди шли, да не простые,
Не простые люди-те, святые —
Ишша я ведь им да не молился...»

А вот красная девица, полоскавшая белые холсты, не только поняла, что за веселые люди ей встретились, но и доброе слово им молвила:

Пособи им бог переиграти
И того царя да вам Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,
Ишша зятя его да Пересвета,
Ай дочь его да Перекрасу!

А и были у ей холсты-ти ведь холщовы — ишша стали атласны и шелковы...

И, наконец, само инившшое царьство и великий бой. Необычный бой, с помощью гудков звончатаых да переладцев — кто кого переиграет. Царь Собака заиграл — стала прибывать вода, хочет он потопить скоморохов. Вавила тоже заиграл, а Кузьма с Демьяном припособили, и появились стада быков: гудящей лоснящейся лавиной двинулись они на бурлящий поток — тысячи тысяч могучих черных и красных быков. Даже уши запечатало от их грохочущего топота и сопения. И стали пить ту воду, и выпили всю...

А потом слепящий свет, нестерпимый жар и ревущий гул безбрежного огня, который взмыл под самое поднебесье. Это Вавила после нашествия быков снова заиграл во гудочек во звончатый во переладец, и загорелось инившшое царьство и сгорело с краю и до краю.

А крестьянский сын скоморох Вавила стал там царем, «привез ведь тут да свою матери»...

Луначарский встал, подошел, расцеловал ее. Качал головой, восхищенно улыбался. Наконец спросил:

- Еще эту былину кто-нибудь поет?
- Дедушко мой пел, я от него внялась.
- Нет, кроме вас?
- Вот Оля говорит, больше будто никто.
- А почему?
- Так скоморохи же, их, слыхал небось, не жаловали Изводили их. Видать, боялись, что ли, облегчение они народу делали... Может, и со стариной этой таились...
- Тогда откуда ее твой дедушка знал?

— А может, тоже от дедушки — от свово. Может, ее только Кабалины и знали. Может, ее кто из Кабалиных и сложил. Сам был скоморохом и сложил...

Расставаясь, опять расцеловались. И он пригласил ее к себе в гости, в Кремль.

— Приеду, приеду! — А когда дверь закрылась, добавила: — Человек, видать, хороший. Нать ему рукавички связать...

Через несколько дней была у него в гостях. Разделилась и спросила, можно ли посмотреть, как они живут. Луначарский стал показывать. Смотрела все очень внимательно: книги, картины, мебель, его большой письменный стол в кабинете, заваленный бумагами, ни одной

зы не пропустила, но в столовой от одной стены отвернулась, прошла мимо.

— Хорошо у вас! Очень хорошо!

Угощали ее горячими пирогами, и Луначарский предложил выпить за нее и спросил, выпьет ли она.

— У тебя в гостях быть да вина не пить!

Выпила, да и говорит:

— Батюшка, хоть в гостях воля не своя, а ты поверни-ка этусты-
добу! Мне не смотреть...

И глазами на ту стенку показала: там висела большая фотография танцующей полуобнаженной Айседоры Дункан с ее дарственной надписью.

Хозяин, смеясь, прикрыл фотографию газетой и, не садясь, торжественно объявил, что правительство назначило Марье Дмитриевне персональную академическую пенсию, академический паек и выделило в Москве две комнаты и постоянного литературного секретаря. Так что теперь она будет жить в столице, будет постоянно выступать, работать с учеными, и он от души поздравляет ее.

Махонька вытаращила глаза, вцепилась в руку сидевшей рядом Озаровской и даже не поблагодарила.

— Умный человек, а что говоришь-то?!

— Говорю, что ты здесь очень нужна.

— А на Пинеге? Как там-то? Ведь ждут! Ведь наказы давали...

И смотрела на Луначарского удивленно и выжидательно — ясно, ждала еще чего-то...

20

Ольга Эрастовна прислушалась, ничего не понимая: Махонька вроде бы молилась, но слова были не молитвенные.

Озаровская подошла и осторожно заглянула в дверную щель.

Большой свет не горел, только зеленая лампадка в углу, но и ее хватало, чтобы различить согбенную фигуруку на коврике у кровати. Почти изумрудный свет только спереди слабо-слабо очертил контуры Махоньки, обозначил костиистый выпуклый лоб, выпирающие скулы, нос картошкой, ряд частых металлических пуговок на синяке, узловатые старушечьи руки. Густой зеленью горели и серебряный венец вокруг лика богоматери, и боковина висевших неподалеку, тихо шестящих часов.

Было за полночь, а старушка отправилась спать около одиннадцати, но еще и не раздевалась; значит, с тех пор и молится.

— Ишо, господи, пособи рабу твому Натолию!.. Сколь делает дел. Ишо только язык не высунул... Ведь всей Рассеей управляет. А глаза плохие...

Озаровская с великим удивлением поняла, что речь идет о Луначарском, и еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.

Старушка рассказала богу, какой Луначарский хороший, сколько делает добра и ей вот выхлопотал большую пенсию и большой паек... Подробно рассказывала и при этом легко сгибалась надвое, касаясь лбом коврика...

Озаровская подумала, что Махонька, наверное, сейчас совершиенно явственно видит перед собой бога. По голосу чувствовалось, что видит: как с живым человеком пела-разговаривала, волновалась, прерывалась и вслушивалась, будто он что-то ей отвечал.

Потом вспомнила кондукторшу, с которой познакомилась нынче в полупустом трамвае, та жаловалась ей на сына-подростка, связавшегося со шпаной. Просила вразумить парнишку, наставить на путь истинный, чтобы матери от него было не горе, а радость, потому что сама она, по всему видно, ласковая и сердечная...

Потом, ойкнув, даже шлепнула себя по лбу.

— Про Сережу-то!..

Озаровская поняла, что она молится за всех, с кем встречалась за прошедший день. Вспоминает, чем человек ей приглянулся, понравился или не понравился, и молится за него. Буквально за всех молилась, даже за очень не понравившихся — злых и противных.

— Ненавидящих и обидающих нас прости, господи!.. Благотворящим благословори. Братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и жизнь вечную. В немощех сущия посети и исцеления даруй. Заповедавших нам, недостойным, молитися о них помилуй... Помяни, господи, прежде усопших отец и братий наших и упокой их... Помяни, господи, братий наших плененных и избави я от всякого обстояния. Помяни, господи, плодоносящих и доброделающих...

Озаровская еще не раз подходила в полночь к этой двери, хотя было уже неловко и стыдно подглядывать и подслушивать. Однако ничего не могла с собой поделать, ее тянуло сюда, как магнитом, хотелось узнать: вспомнит Махонька когда-нибудь о себе, попросит у бога что-нибудь и для себя?

Так во все дни ни разу и не вспомнила. Просила только за других. И как просила: волновалась, подолгу приникала лбом к коврику, хотя некоторых, за кого просила, видела мало и, в общем-то, совсем не знала. Все равно просила.

Лишь однажды, уже отбив все поклоны, очерченная глубоким зеленым светом, она посидела, отдохшая, немного на коленях, беззвучно пошевелила губами, видимо, вспоминала, не забыла ли кого из встреченных в этот день, потом еще раз негромко пророкотала: «Ненавидящих и обидающих нас прости!.. Благословориющим благословори... — и, осеняя себя крестом, прошептала: — А мне, господи, ничего не надо. У меня все есть...».

Вскоре Махонька уехала домой. Заторопилась, заторопилась и уехала. Всего полтора месяца в Москве и пожила.

21

— Так как же умерла Махонька?

Руководительница хора помедлила, будто вспоминая...

— Это было в двадцать четвертом. Она обходила, обходила Кусогору, а в последний день января все же пришла проведать внуков Ефрем, уже женатый, жил с отцом. Дня через два, в субботу, истопили баню, первыми пошли помылись-попарились мужики, потом она с Александрой — Ефремовой молодой женой. Постучались вениками. Александра потерла ей спину, навела щелок, хотели уж головы мыть, а Махонька вдруг легла бочком на нижний полок, вся обмякла и еле-еле дышит, и глазами-то круглыми хлоп, хлоп, а они в тумане Александра: «Что с тобой? Что с тобой?» А она и сказать не может, только воздух чуть слышно тянет. Потом шепчет: «Сил нет — ушли...» Александра ее на руки и в предбанник, а там в шубу, так мокрую в шубе и домой хотела нести — она совсем маленькая, совсем легкая была. Но бабушка в холодке вроде бы отошла, велела приодеть ее и на руках не захотела, пришлось вести-нести ее, захватив сзади под мышки. Дома подняли и уложили ее на печь, и она то забудется и что-то бормочет, бормочет невнятное, а то затихнет, смотрит усталыми глазами и попросит пить. А раз клюквочки попросила, а взять-то уж и не может. Александра одну ей в рот положила, а она ее, в губах двигает, посасывает и улыбается. светится, совсем как прежде. А под утро петь начала — не поймешь, то ли в забытьи, то ли в яви, но только голос делался все горячей, все ясней. Пела одни старины без всякого перерыва и час, и два, и три...

Ему дал бог поветерь попутную.
Как во ту пору, во то времечко

Из-под ветерья как кудрявого,
Из того орешва зеленого
А бежит прибегиши лодейное.
А лодейное, корабельное:
А се три, се два, се един карапь...

Собрались соседи. Сидели притихшие, смотрели вверх на черный тулуп, под которым вздрагивало маленькое тельце, на округлые, уже желтеющие скулы, на выпуклый большой лоб и слушали:

Это люди шли, да не простые,
Не простые люди-те...

Она стала хрипнуть, захлебываться словами, метаться.

Потухла звезда на поднебе...

И вытянулась...

Руководительница хора долго молчала.

Она жила далеко, на самом краю поселка, а морозище к ночи взлютовал так, что под носом сразу сделалось мокро. И главное — ветер, обжигающий ветер прямо в лицо. Это во второй-то половине марта. Девушка закрыла платком рот, но мерзла явно меньше меня, шла легко и свободно.

Все вокруг было удивительно четкое: снег, силуэты, свет фонарей, тени и особенно звезды на иссиня-черном небе, горевшие очень ясно и ярко и чуть зловеще, и вроде бы очень далеко и недалеко. Странно горели звезды. И была такая тишина, что скрип снега под ногами казался оглушительным. Большинство домов стояло уже без света. Это были те самые черные исполнины в глубоких снегах с огромными толстыми снежными крышами и четкими белыми оконницами. Не белыми, нет — иссиня-белыми, как и чистейшие снега. И все это тоже жестко затаенно светилось.

Девушка рассказывала, какие у них здесь летом есть еще малиники и брусничники и что грибы тут, как и встарь, «не собирают, а томают», выезжают за ними целыми ватагами, семьями. А лучшая клюква по осени за Сурой.

— Но это же километров полтораста?!

— И что! Летаем самолетами, вертолетами.

— За клювой?!

— И за малиной. И за грибами. Все летают. Дорог-то летом нет...

Она подняла платок еще выше, прикрыла и кончик носа и скользко-то шла и смотрела, как и я, на яркие звезды, а потом глуховато, через платок подхватила мой разговор о том, что они сегодня какие-то необычные.

— Когда такой ночью оказываешься в лесу и видишь эти звезды через черные вершины сосен, становится жутковато — уж больно слабым и ничтожным чувствуешь себя. И тишина там, в наших лесах, оглушающая. Великая тишина.— Она помолчала.— И знаете, как все там меняется, если запеть...

«А зачем она была в такую пору в лесу и даже пела?! — удивился я. — Но, выходит, была...».

И вдруг появилось странно-пронзительное ощущение, что Махонька сейчас тоже видит эти звезды. Идет она огромным черным лесом, снег под ее валенками часто поскрипывает, а голова вверх, к этим ярким звездам, и глаза у нее тоже ясные и яркие-яркие. И, конечно, поет, может быть, даже:

Это люди шли, да не простые,
Не простые люди-те, святые...

А лес ей гулко вторит: «Святы... святы... святы-ы-ы-ые-е-е!..».